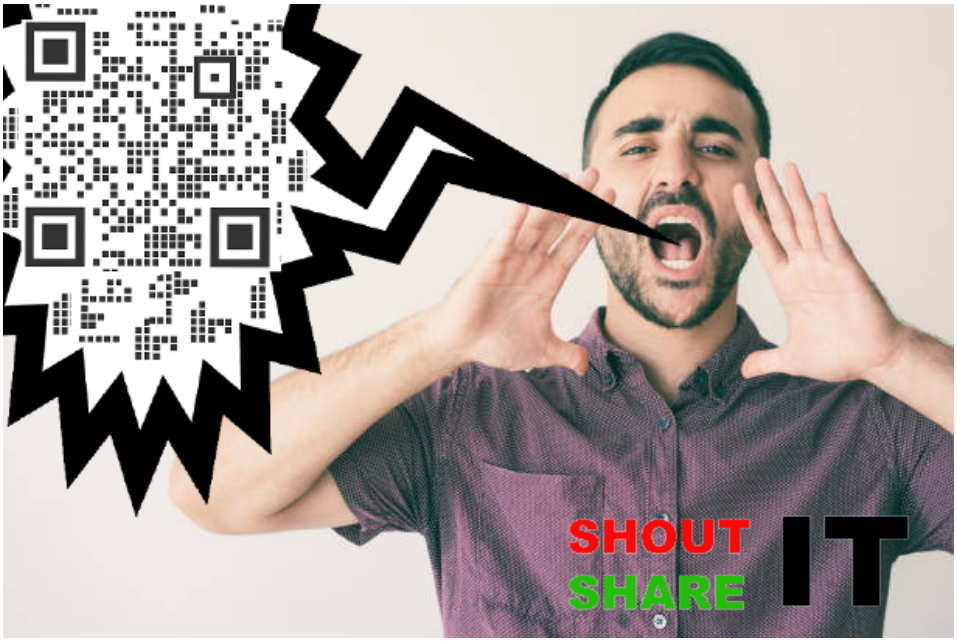
Князь С. Н. Трубецкой (Воспоминания сестры)

Ольга Николаевна Трубецкая


SHOUT
SHARE
IT

- Трубецкая Ольга Николаевна
  - КНЯЖНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ТРУБЕЦКАЯ
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - Часть I (1892–1904)
    - ГЛАВА ПЕРВАЯ
    - ГЛАВА ВТОРАЯ
    - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - Часть II (1904–1905)
    -
    - ГЛАВА ПЕРВАЯ
    - ГЛАВА ВТОРАЯ
    - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
    - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
    - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ПРИЛОЖЕНИЯ

Трубецкая Ольга Николаевна
Князь С. Н. Трубецкой: Воспоминания сестры

КНЯЖНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ТРУБЕЦКАЯ

Княжна Ольга Николаевна Трубецкая была третьей дочерью кн. Николая Петровича Трубецкого и его второй жены Софии Алексеевны, рожденной Лопухиной. Родилась она 26 апреля 1867 года и была любимицей недавно до ее рождения поступившей к Трубецким няни — Феодосии Степановны Архангельской.

В раннем детстве у Ольги Николаевны был детский паралич, в результате которого она на всю жизнь осталась хромой. Замуж она не вышла и посвятила себя записям семейных воспоминаний и событий — «семейной летописи», как, смеясь, говорили ее братья.

Семья Трубецких и всё, что эту семью окружало, было настолько интересно, что, действительно, было что записывать и о ком говорить.

Старшая ее сестра Антонина Николаевна вышла замуж за Феодора Дмитриевича Самарина, старшего племянника Юрия Феодоровича — известного деятеля крестьянской реформы 1861 года — сподвижника Царя Освободителя, к которому у Ольги Николаевны было особенное чувство благоговейной любви и восхищения. Это чувство создано было в раннем детстве рассказами ее няни о крепостном праве. «И заложила няня в нас, — пишет Ольга Николаевна, — ненависть к крепостному праву и любовь к Царю Освободителю. С каким горением писала я впоследствии историю крестьянской реформы!»

Ольга Николаевна месяцами живала у Самариных, подготовляя материалы к составленному ею большому труду «Материалы к биографии князя Черкасского», но вскоре политическая жизнь ее братьев и, главным образом, брата Сергея всецело поглотили ее, и она стала записывать и составлять мемуары, касающиеся преимущественно его жизни.

Мне, старшему ее племяннику, удалось до ее смерти, последовавшей 12 января 1947 г. в Clamar'e под Парижем, собрать воедино ряд из ее интереснейших записей-воспоминаний, касавшихся отдельных семей, состоявших в родстве с нашей семьей.

Одну из этих записей я представляю на суд широких кругов русского общества. Запись эта касается исключительно ее воспоминаний об ее старшем брате князе Сергее Николаевиче Трубецком.

Кн. Вл. Трубецкой

Нью-Йорк Апрель 1953 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кн. С. Н. Трубецкой, профессор, а последние дни жизни ректор Московского университета, принадлежит к числу тех немногих избранников в истории человечества, кто вступает в жизнь с определенным миросозерцанием и во всей своей последующей деятельности руководится только им, а не какими-либо житейскими соображениями.

«Сергей Николаевич ни перед кем не искал и ни к чему не приспособлялся. Там, где светило ему убеждение, где он видел ясно свою цель и свой долг, он смело шел вперед, шел на всякое положение, даже затруднительное, ни минуты не думая о себе, а только о деле. И он мог быть уверен, как и все другие верили вокруг него, что ни при какой житейской конъюнктуре, ни одна соринка клеветы не прикоснется к его честному имени». (П. Н. Милюков).

«Основы религиозного миросозерцания С. Н. были заложены в нем его матерью княгиней С. А. Трубецкой, урожденной Лопухиной, женщиной замечательной, с широким образованием и большим умом. Всецело отдавшись своей семье и воспитанью детей, она оказала на своего сына глубокое и благотворное влиянье». (Лопатин, «Кн. С. Н. Трубецкой»).

«Еще будучи мальчиком, учеником 5-го класса гимназии, С. Н. перенес бурный религиозный кризис и на некоторое время стал нигилистом, как понималось это слово в шестидесятых и семидесятых годах. Но уже с окончания гимназии в С. Н. произошел новый духовный переворот: он вернулся к христианству; он на всю жизнь сделался убежденным проповедником идеального, очищенного, философски оправданного религиозного мировоззрения». (ibid.)

С основными положениями миросозерцания С. Н. читатель может познакомиться, прочтя 10 страниц введения к его книге «Учение о Логосе в его истории». Здесь С. Н. ставит вопрос: «Имеет ли какой-нибудь разумный смысл человеческая жизнь, и если да, то в чем он заключается? Имеет ли разумный смысл и разумную цель вся человеческая деятельность, вся история человечества, и в чем этот смысл и цель? Имеет ли, наконец, разумную цель весь мировой процесс, имеет ли смысл существование вообще?»

«Человек не может мыслить свою судьбу независимо от судьбы человечества, того высшего собирательного целого, в котором он живет, и в котором раскрывается полный смысл жизни». «Эволюция личности и общества и их разумный прогресс

взаимно обусловливают друг друга. Какова же цель этого прогресса?»

«Для многих мыслителей совершенное культурное государство, правовой разумный союз людей и является высшей идеальной целью человечества. Государство есть сверхличное нравственное существо, воплощение объективного, собирательного разума: это Левиафан Гоббса, земное божество Гегеля. Для других государство является лишь ступенью в объединении или собирании человечества в единое целое, единое Великое Существо, le Grand Etre, как называл его Конт».

«Но в каком образе явится Великое Существо грядущего человечества? В образе одухотворенного Человека, „Сына человеческого“, который будет „пасти народы“, или в образе многоголового „зверя“, нового всемирного дракона, который растопчет народы, поглотит их и поработит себе все». Решение этой роковой дилеммы «зависит от того, истинно ли христианство, и есть ли Христос действительное откровение живого смысла мира — его Логос или Слово».

С. Н. был глубоко убежден в истинности последнего, для него не было сомнения в том, что человечество должно стремиться идти по тому пути, который ведет к воплощению христианской истины. В своих научных исследованиях он был, как говорит проф. Лопатин, «проповедником идеального, философски очищенного религиозного мировоззрения», а в своей общественно-политической деятельности он всегда руководился только теми принципами, на которые указывало ему его общее миросозерцание.

Свою общественную деятельность С. Н. начал как ученый и университетский преподаватель. Всякая школа, а в особенности высшая школа, должна представлять собой одну из самых идеальных форм общества, какая только мыслима в современных условиях. Общение учителя с учениками и учеников между собой основываются на определенно поставленной объективной и безусловно достойной цели, именно на сообщении учащимся новых знаний и раскрытии перед ними неизвестных им до сих пор истин, а в университетском преподавании к тому же присоединяется и совместное с руководителем исследование новых проблем. Здесь заранее устраняются всякие себялюбивые эгоистические цели, здесь создается общество, в котором все бескорыстно стремятся к общему благу, к раскрытию истины. В занятиях, которые производились под руководством С. Н., все его участники всегда живо ощущали это истинное назначение школы.

Но университет может осуществлять свою истинную задачу только тогда, когда он совершенно свободен, когда всей жизнью

университета руководит свободно избранная профессорская корпорация с свободно избранным ректором во главе, когда допускается полная свобода преподавания, не стесняемая требованиями извне выработанных программ, и когда допускается свободное общение студентов с преподавателями и между собой, словом, когда университет автономен.

Но в русском университете не существовало ни одного из указанных необходимых условий для правильной университетской жизни; и потому С. Н. не может ограничиться своей блестящей, увлекающей студентов преподавательской деятельностью и становится одним из самых горячих защитников университетской автономии. Но пока автономия не достигнута, необходимо внести в университетскую жизнь те коррективы, которые могли быть допущены существующим уставом, и вот С. Н. основывает исторический кружок, из которого впоследствии развивается историческо-филологическое общество, которое в значительной мере осуществляет принцип свободного университета.

Одним из существеннейших условий необходимых для борьбы как за автономию университета, так и за другие реформы, потребность в которых болезненно ощущалась всем русским обществом, была свобода печати. С. Н. выступает с рядом статей в защиту автономии университета и свободы печати, в которые, по выражению проф. А. А. Кизеветтера, влагает весь блеск своего публицистического таланта.

Университетская и публицистическая деятельность С. Н. естественно выводила его на широкую общественную арену.

Хотя С. Н. не был даже земским гласным, его привлекают к земским совещаниям и земским съездам, и он становится одним из самых деятельных участников освободительного движения. Но в своей общественной деятельности он был совершенно чужд какой-либо партийной догматики. Революционеры как справа так и слева глубоко были противны его духу и убеждениям. Им руководило только стремление к установлению правды и справедливости, и он думал, что это может быть достигнуто взаимным пониманием и доверием, как со стороны исторически сложившейся власти так и со стороны общества. «Он всей душой верил в возможность мирного исхода и сила его была в том, что его горячее искреннее слово и в других умело зажигать ту же веру. Верили в то, что он найдет и скажет такие слова, которые убедят, перед которыми смирится и всемогущая власть и бушующая народная стихия». (П. И. Новгородцев, «Памяти кн. С. Н. Трубецкого». Вопросы Философии и Истории кн. 1, 1906 г.).

В нашей истории был один момент, когда казалось, что

чаянья С. Н. осуществились в действительной жизни. Это был тот момент, когда 6-го июня 1905 г. С. Н. от имени депутации земств и городов произносил свою речь перед Государем, и депутация выслушивала ответную речь царя. Но ни правительство, ни общество не могло удержаться на этой высоте и дальнейшие события повели не к примирению, а к ожесточенной борьбе.

В одной только области горячая и напряженная общественная деятельность С. Н. достигла видимого успеха. «В августе 1905 г. состоялся указ о введении некоторых элементов университетской автономии, а именно: были восстановлены выборы ректора и профессоров и расширена компетенция университетских советов. Совет Московского университета почти единогласно избрал ректором кн. С. Н. Трубецкого, который являлся самым естественным кандидатом на этот пост», (проф. А. А. Кизеветтер. «Московский университет» в Юбилейном Сборнике Московского университета, 1755–1930).

Мне пришлось быть в Меньшове, где тогда жил кн. С. Н. накануне его отъезда в Москву, на заседание Совета университета, где должны были состояться выборы ректора. Вечером во время разговора жена С. Н. высказала опасение, что его могут избрать ректором. На это С. Н. сказал: «Почти весь Медицинский факультет состоит из моих друзей, они знают, что мне этого нельзя и не допустят моего избрания». (В это время С. Н. был уже серьезно болен). Но слова эти не оправдались. Другого выхода в данный исторический момент не было и С. Н. должен был уступить тому общему подъему и одушевлению среди профессуры, которая требовала его избрания. Он принял это избрание, хотя оно и явилось для него смертным приговором, и к нему вполне приложимы слова Евангелия: «Нет больше той любви, аще кто душу свою положит за други своя».

С. Н. пробыл ректором только 28 дней, которые были, может быть, самыми мучительными в его жизни. 29 сентября на заседании у министра народного просвещения ему сделалось дурно, его перевезли в клинику, где он через несколько часов скончался.

В своей статье, посвященной памяти кн. С. Н. Трубецкого, проф. П. И. Новгородцев пишет: «Пусть это была иллюзия, но летописец наших дней должен написать на странице истории, что во время русской революции с именем Сергея Трубецкого связана была вера русского народа в превозмогающую силу правды и возможность общего примирения». Страшный полувековой исторический опыт, пережитый человечеством после смерти С. Н., заставляет признать многих вдумчивых людей, что путь, на который указывает вера в превозмогающую силу правды, и

которым всю жизнь шел С. Н., - не иллюзия, а тот единственный путь, который может вывести человечество из современного хаоса ненависти и злобы и спасти его от власти «нового всемирного дракона, который растопчет народы, поглотит их и поработит себе все».

М. Поливанов

Часть I (1892–1904)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

До 1891-92 г. кн. Сергей Николаевич жил исключительно философскими, научными и семейными интересами и область политики была ему совсем чужда. С 1892 голодного года наступил в этом отношении перелом в его жизни. Он не мог продолжать спокойно заниматься философией под впечатлением создавшегося общественного настроения и ужаса от надвинувшегося на нас народного бедствия. Он принял предложение Г. И. Кристи (бывшего тогда рязанским губернатором) и, в качестве уполномоченного, поехал в Рязань налаживать там помощь голодающим. О своих впечатлениях в Рязани С. Н. сообщает брату в письме, в апреле 1892 г. (См. прилож. 1)

Живя в Рязани, С. Н., однако, не прерывал лекций в университете, для чего еженедельно приезжал в Москву. Два раза в течение зимы он устраивал семинарии по Платону, но к концу июля, освободившись от общественных работ, вернулся в деревню, где жила его семья (в Прохорове, подле Меньшова) (Меньшово — именье семьи кн. Трубецких в Подольском уезде Моск. губ.) и усиленно засел над подготовкой к курсу, так как располагал в 1892-93 г. читать 6 часов в неделю. Но планы его были расстроены необходимостью для здоровья его единственной дочери ехать на юг Франции, к морю. Уезжал он с очень тяжелым чувством, как бы в изгнанье, но в конце концов, получив полную свободу для философских и научных занятий, усмотрел в жизни Перст Божий и углубился в подготовительную работу к своей диссертации, план которой созревал для него по мере продвижения ее.

В первую голову он принялся за Отцов Церкви и Патриотическую литературу.

«Меня интересует, — писал он брату Евгению, — выяснить себе самому генезис церковного учения, — общий религиозный вопрос о его значении и происхождении… Результаты добываются медленно. Очень хотел бы видеть тебя. Надеюсь, этот год изгнания даром не пропадет. Чувствую, что зрею».

Но и, казалось, всецело погруженный в научные занятия, С. Н. не переставал живо интересоваться политическими вопросами, что видно из его писем к брату Евгению Николаевичу. (См. прилож. 2)

Вернувшись в Москву в 1894 г., Сергей Николаевич читал в университете курс философии Отцов Церкви, собственно les origines du christianisme (происхождение христианства), кроме

того он вел семинарий по Аристотелю и основал исторический студенческий кружок под своим председательством, из коего впоследствии выросло историческое студенческое общество (В конце девяностых годов при Историко-филологическом факультете под эгидой практических занятий по философии истории существовал одно время кружок, состоявший из самого незначительного числа студентов и лиц оставленных при университете. В нем читались и обсуждались рефераты на темы не укладывавшиеся в узкие рамки специальных факультетских требований, и, таким образом, им преследовались скорее цели самообразования молодежи и свободного общения студенчества с профессорами, чем задачи подготовки ученых специалистов. Председательствовали в кружке П. Г. Виноградов и кн. С. Н. Трубецкой (А. Анисимов: «Кн. С. Н. Трубецкой и московское студенчество». Вопросы философии и психологии, кн. 1, 1906 г.).).

Кружок этот очень увлекал С. Н., и он рекомендовал брату Евгению завести в Киеве нечто подобное. (См. прилож. 3). Но мирным академическим занятиям недолго суждено было продолжаться. В декабре Москва была взволнована студенческими беспорядками, которые в первый раз задели политические вопросы. (Поводом к беспорядкам послужила демонстрация против Проф. В. О. Ключевского, на которой студенты желали выразить протест против его публичной лекции, посвященной памяти императора Александра III. Демонстрация произошла 30 ноября, 1-го декабря правление у-та судило 10 чел., выбранных по указаниям педелей. Собравшимся перед дверьми правления был прочтен приговор: 3 чел. были исключены из у-та, 3 посажены в карцер на 3 дня и четверо получили выговор.

Студенты были недовольны подобным приговором. Движение против приговора приняло мирные петиционные формы. Собравшиеся в химической лаборатории студенты избрали депутацию к ректору с петицией об отмене приговора. Ректор отказался удовлетворить просьбу студентов, и сходка студентов была разогнана полицией; после чего 59 студентов были уволены и высланы из Москвы.

После этого часть профессоров стали собираться, чтобы обсудить некоторые вопросы. В первый раз собрались 10 декабря у Остроумова под председательством В. И. Герье, принесшего уже готовые положения, которые должны были послужить основанием петиции в защиту студентов московскому генерал-губернатору, Великому князю Сергею Александровичу. Составлял петицию П. Н. Милюков, а редактировали с ним В. И. Герье и В. Д. Ширвинский. Петиция не достигла своей цели. Из министерства

пришло решение: всем петиционерам выразить порицание, а четырем вожакам Герье, Эрнсману, Остроумову и Чупрову сделать выговор с предупреждением, что в случае беспорядков они будут считаться виновниками их. Более решительные меры обрушились на приват-доцентов В. В. Безобразова и П. Н. Милюкова. (Гр. Орлов. Студенческое движение в Московском У-те в XIX ст.).)

20 октября 1894 г. скончался государь Александр III. Последние годы его царствования отмечены были особым административным гнетом, который всемерно старался придушать пробуждавшееся общественное сознание среди земских кругов и особенно болезненно давал себя чувствовать в стенах университета, где господствовал полицейский режим, совершенно обезличивавший профессорскую корпорацию и лишавший ее всякого авторитета.

В общественных кругах росло глухое недовольство, но оно не носило боевого характера. Мощная фигура Александра III импонировала своей прямотой и честностью: люди либерального склада все таки уважали и почитали государя. В мыслящей части общества ощущалась удрученность от сознания собственного бессилия. Царила какая-то апатия, переходившая у многих в неврастению. Лучшие люди отходили от общественной деятельности, не находя в ней удовлетворения для томившей их жажды применять свои силы и способности на пользу общую, а революционные организации вели свою подпольную работу в университетах и в высших учебных заведениях, пользуясь репрессиями и организуя из запрещенных земляческих кружков нелегальные студенческие организации.

Вступление на престол государя Николая II, облик которого был еще совершенно неясен, оживило во многих надежду на перемену курса. Из земских собраний посыпались адреса с заявлением чаяний и надежд, что голос народа получит возможность свободно восходить до царя, что исчезнут средостения между царем и народом, и что общественные силы будут призваны к совместной работе с правительством и т. п. Москва оживилась, в обществе стали циркулировать земские адреса, из коих Тверской пользовался особым вниманием и успехом.

Но этому оживлению и надеждам скоро пришел конец: речь государя земским представителям, собравшимся в Петербурге 17-го января 1895 г., облетела всю страну и произвела на всех самое тягостное впечатление: при том конец речи, сказанный в повышенном тоне, прямо оскорбил многих из присутствовавших. Негодование нашло себе яркое выражение в «открытом письме» к государю Николаю II, написанное под непосредственным

впечатлением момента. Оно стало ходить по рукам и отражало настроение либеральных земских кругов, принявших речь государя как вызов.

Вот что говорилось в адресе Тверского губернского земского собрания, направленном царю:

«В знаменательные дни служения Вашего русскому народу Земство Тверской губернии приветствует вас приветом верноподданных. Разделяя Вашу скорбь, Государь, мы надеемся, что в народной любви, в силе надежд и веры народа, обращенных к Вам, Вы почерпнете успокоение в горе, столь неожиданно постигшем Вас и страну Вашу, и в них найдете твердую опору в том трудном подвиге, который возложен на Вас Провидением. С благодарностью выслушал народ русский те знаменательные слова, которыми Ваше Величество возвестили о вступлении своем на всероссийский Престол. Мы вместе со всем народом русским проникаемся благодарностью и уповаем на успех трудов Ваших в достижении великой цели Вами поставленной, — устроить счастье Ваших верноподданных. Мы питаем надежду, что с высоты Престола всегда будет услышан голос нужды народной. Мы уповаем, что счастье народа будет расти и крепнуть при неуклонном исполнении закона как со стороны народа, так и представителей власти, ибо закон, представляющий в России выражение Монаршей воли, должен стать выше случайных видов отдельных представителей этой власти.

Мы горячо веруем, что право отдельных лиц и права общественных учреждений будут неизбежно охраняемы. — Мы ждем, Государь, возможности и права для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам их касающимся, дабы до высоты престола могло достигать выражение потребности мысли не только представителей администрации, но и народа русского. Мы ждем, Государь, что в Ваше царствование Россия двинется вперед по пути мира и правды, со всем развитием живых общественных сил. Мы веруем, что в общении с представителями всех сословий русского народа, равно преданных престолу и отечеству, власть Вашего Величества найдет новый источник силы и залог успеха в исполнении великодушных предначертаний Вашего Императорского Величества».

В конце своей речи государь сказал следующее:

«Мне известно, что в последние времена слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала

самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель».

Приводим текст «Открытого письма»:

«Вы сказали свое слово, и оно разнесется теперь по всей России, по всему свободному миру.

До сих пор Вы были никому неизвестны, со вчерашнего дня Вы стали определенной величиной, относительно которой нет больше места „бессмысленным мечтаниям“. Мы не знаем, понимаете ли Вы то положение, которое Вы создали своим твердым словом. Но мы думаем, что люди стоящие не так высоко и не так далеко от жизни, как Вы, и потому могущие видеть то, что происходит теперь в России, легко разберутся и в Вашем и в своем положении.

Прежде всего Вы плохо осведомлены о тех течениях, против которых Вы решились выступить с Вашей речью. Ни в одном земском собрании не слышалось ни одного голоса против самодержавной власти, и никто из земцев не ставил вопроса так, как его поставили Вы. Наиболее передовые земства и земцы настаивали, или, вернее, просили лишь о единении Царя с народом, о непосредственном доступе голоса земства к Престолу, о гласности, о том, чтобы закон всегда стоял выше административного произвола. Словом, речь шла лишь о том, чтобы пала бюрократическая придворная стена, отделяющая Царя от России. Вот те стремления русских людей, которые Вы, только что вступив на Престол, неопытный и несведущий, решились заклеймить названием „бессмысленных мечтаний“.

Для всех сознательных элементов русского общества ясно, кто подвинул Вас на этот неосторожный шаг. Вас обманули, Вас запугали представители той именно придворной бюрократической стены, с самодержавием которой никогда не примирится ни один русский человек. И Вы отчитали земских людей за слабый крик, вырвавшийся из их груди против бюрократического полицейского гнета.

Вы увлеклись так далеко в ненужном охранении того самодержавия, на которое ни один земский человек не думал посягать, что в участии представителей в делах внутреннего управления усмотрели опасность для самодержавия. Такой взгляд не соответствует тому положению, в которое Земство поставлено Вашим отцом, и при котором оно является необходимым участником и органом внутреннего управления. Но Ваше неудачное выражение не просто редакционный промах: в нем сказалась целая система. Русское общество прекрасно поймет, что 17 Января говорила Вашими устами вовсе не та идеальная самодержавная власть, носителем которой Вы себя считаете, а

ревниво оберегающая свое могущество бюрократия. Этой бюрократии, начиная с кабинета министров и кончая последним урядником, ненавистно расширение общественной самодеятельности, даже на почве существующего самодержавного порядка.

Она держит самодержавного монарха вне свободного общения с представителями народа, и самодержцы оказываются лишенными всякой возможности видеть их иначе, как ряженными с иконами, поздравлениями и подношениями. И речь Ваша еще раз доказала, что всякое желание представителей общества и сословий быть хоть чем-нибудь большим, всякая попытка высказаться перед Престолом, хотя бы в самой верноподданнической форме, о наиболее вопиющих нуждах русской земли — встречает лишь грубый окрик.

Русская общественная мысль напряженно работает над разрешением коренных вопросов народного быта, еще не сложившегося в определенные формы со времени великой освободительной эпохи, и недавно, в голодные годы, пережившего тяжелые потрясения. И вот в такое время, вместо слов обещающих действительное и деятельное единение Царя с народом и признания с высоты престола гласности и законности, как основных начал государственной жизни, представители общества, собравшиеся со всех концов России и ожидавшие от Вас одобрения и помощи, услышали новое напоминание о Вашем всесилии и вынесли впечатление полного отчуждения Царя от народа.

Верьте, что и на самых смиренных людей такое обращение могло произвести удручающее и отталкивающее действие. День 17 Января уничтожил ореол, которым многие русские люди окружали Ваш неясный молодой облик. Вы сами положили руку на Вашу популярность.

Но дело идет не только о Вашей личной популярности. Если самодержавие на словах и на деле отожествляет себя со всемогуществом бюрократии, если оно возможно только при совершенной безгласности общества и при постоянном действии якобы временного положения об усиленной охране — дело его проиграно, — оно само себе роет могилу и, рано или поздно, но во всяком случае не в далеком будущем, — падет под напором живых общественных сил. Вы сами своими словами и своим поведением задали обществу такой вопрос, одна ясная и гласная постановка которого есть уже страшная угроза самодержавию. Вы бросили земским людям, и вместе всему русскому обществу, вызов, и им теперь не остается ничего другого, как сделать сознательно выбор между движением вперед и верностью

самодержавию. — Правда, своею речью Вы усилили полицейское рвение тех, кто службу самодержавному Царю видит в подавлении общественной самодеятельности, гласности и законности. Вы вызвали восторги тех, кто готов служить всякой силе, ни мало не думая об общем благе, и в безгласности и произволе находя лучшие условия торжества личных узко-сословных выгод. Но всю, мирно стремящуюся вперед, часть общества Вы оттолкнули.

А те деятельные силы, которые неспособны довольствоваться полной сделок и уступок трудной и медленной борьбой на почве существующего порядка, — куда пойдут они?… После Вашего резкого ответа на самые скромные и законные пожелания русского общества, — чем, какими доводами удержит оно на законном пути и охранит от гибели самых чутких и даровитых, неудержимо рвущихся вперед детей своих…

Итак, какое действие произведет на русское общество первое непосредственное обращение Ваше к его представителям? Не говоря о ликующих, в ничтожестве и общественном бессилии которых Вы сами скоро убедитесь, Ваша речь в одних — вызвала чувство обиды и удрученности, от которых, однако, живые общественные силы быстро оправятся и перейдут к мирной, но упорной и сознательной борьбе за необходимый для них простор; у других — она обострит решимость бороться с ненавистным строем всякими средствами. Вы первый начали борьбу, и борьба не заставит себя ждать».

Петербург, 19 Января 1895 г.

***

Университетские беспорядки и печальное событие 17-го января очень волновали С. Н. и создавали в нем невеселое, унылое настроение. (См. прилож. 4).

Общественная атмосфера особенно сгустилась в 1897 г. вследствие повторения голодного года, не менее тяжелого, чем 1891 г. Правительство, тем не менее, сначала отказывало в ссудах и помощи на том основании, что ссуды 1892 г. почти не были возвращены населением. (Напр., из Воронежской губ. поступила лишь 1/3 выданной ссуды). Потребовался новый призыв Л. Н. Толстого, чтобы расшевелить общественное мнение и подвинуть правительство придти на помощь голодающим.

Деморализация и гнет проникали и в церковную сферу, вследствие политики Победоносцева и предпринятых им гонений против сектантов и раскольников. В августе 1897 года в Казани

состоялся многочисленный миссионерский съезд, который ознаменовал себя рядом суровых мер против них. Сельским обществам предоставлялось право поступать с ними, как с порочными членами общины и ссылать в Сибирь. С. Н. особенно возмутил случай, оглашенный в печати Л. Н. Толстым об отобрании детей у молокан. (На основании 39 ст. о предупреждении и пресечении преступлений). Миссионерский съезд возбуждал вопрос о применении этой меры и отклонил ее по соображениям чисто практического характера: не хватило бы средств на содержание детей особо вредных сектантов (к числу которых были отнесены между прочим и толстовцы). Расправа с духоборами, предпринятая в 1897 г., завершилась в 1898 г. их массовым переселением в Канаду. (См. прилож. 5). Для С. Н. положение нашей православной церкви и оскудение церковного сознания в народе было самой тяжелой и мрачной стороной современной действительности. «Грех против церкви, — писал он, — есть самый тяжкий из грехов русского государства, — грех против Духа, особенно тягостный для всякого верующего патриота». Постановления миссионерского съезда были новым проявлением этого постоянного греха. С. Н. хотел разразиться сильной статьей, но должен был удовольствоваться лишь критикой мероприятий съезда в статье «Дело Мортара», которую Петербургские Ведомости согласились у себя поместить.

Глубокое возмущение и горе, испытываемое С. Н. при виде бессилия государственной церкви, оскудения духа, принижения и деморализации иерархии, безверия и равнодушия в просвещенных слоях общества, раскола и сектанства, разъедающих народ, нашло себе выражение в почти пророческом письме к брату в марте 1897 г., (см. прилож. 6) и затем в статьях «На Рубеже», «О современном положении Русской Церкви», «Разочарованный славянофил» (Как видно из уцелевших отрывков предполагаемой им диссертации «О Церкви и Св. Софии», С. Н. видел во вселенской церкви живой и абсолютный идеал, образующий Русь, самый тайник народного творчества. Утеря этого идеала нашей интеллигенцией и последовавший вследствие этого разрыв с народным сознанием является, по мнению С. Н., главным источником всех неустройств русской жизни. (См. приложение 7).).

Между тем университетские волнения, сначала как будто довольно невинного характера, постепенно все более и более принимали характер хронического недуга. Беспорядки происходили в 1895, 1896 и 1899 гг., при чем последние приняли никогда не бывшие до того времени размеры, охватив почти все высшие учебные заведения России. Грандиозность студенческих

беспорядков в 1899 г. побудила правительство создать под председательством ген. адъютанта Ванновского (бывшего военного министра) особую комиссию, которой было поручено произвести всестороннее обследование причин и обстоятельств беспорядков. Тем самым был решительно поставлен вопрос об университетской реформе, и лучшая часть профессуры воспользовалась этим, чтобы в ряде записок высказать свое мнение о характере предстоящей реформы. Яркую картину создавшегося положения дает письмо С. Н. к брату Евгению от марта 1899 г. (См. прилож. 8).

Как видно из этого письма и последующего (См. прилож. 9), с самого возникновения университетского вопроса С. Н. явился горячим сторонником его автономии и старался популяризировать эту идею в высших сферах.

Несмотря на существование комиссии ген. ад. Ванновского общий курс политики не менялся, свободного обсуждения университетского вопроса в печати не было допущено, дезорганизация университета все росла, положение профессуры становилось все более трудным, подчас невыносимым.

Наконец, 25 мая 1899 г. появилось правительственное сообщение о результатах расследования комиссии ген. ад. Ванновского. В сообщении было дано изложение событий в университетах и в заключительной его части указывалось на неудовольствие Государя, на то, что профессура не сумела приобрести достаточного авторитета и морального влияния, чтобы разъяснить студентам границы их прав и обязанностей.

С. Н. приветствовал правительственное сообщение, как радостное событие, дающее возможность высказаться по вопросу вполне назревшему и перенести его в печать из кружков, в которых он обсуждался в духе нетерпимой фанатической агитации, поставленной в самое выгодное для нее положение вынужденным молчанием людей порядка, людей искренно преданных университетскому делу.

В своей статье С. Н. осторожно освещает положение университета и подходит к его нуждам, объясняя, что, когда профессора перестают составлять организованную корпорацию, университет может быть внешним соединением весьма многих и разнообразных кафедр, представленных более или менее учеными чиновниками ведомства народного просвещения, но он перестает быть университетом, т. е. живым академическим союзом. Отражая постоянные нападки и обвинения против профессуры, С. Н. утверждает, что профессора, назначаемые непосредственно министерством, не имеющие сами по себе никакого участия в управлении университета и никакого

определенного отношения к студентам, помимо лекций и занятий, ведущихся по программе, утвержденной министерством, не могут быть ответственны за порядок в университете, и даже, если бы один из них стал вести преступную агитацию среди студентов, ответственность падает на него, а не на корпорацию, от которой он не зависит, или которая не существует вовсе.

Говоря об университете, нужно иметь в виду не отдельные беспорядки, а его постоянные порядки тщательный и безотлагательный пересмотр коих необходим. (См. статью кн. С. Н. Трубецкого: «По поводу прав. сообщения о студенческих беспорядках». Собр. соч. т.1).

Летом 1899 г. С. Н. в ряде статей, помещенных в «Петербургских Ведомостях» под видом писем к Ухтомскому и Цертелеву, ратует за свободу печати. «Петербургские Ведомости» читались «в сферах», а иногда даже самим государем, благодаря чему они подвергались меньшим цензурным стеснениям. До известной степени С. Н. применял тон своих статей к читателям. Однако в первой статье, он в яркой картине характеризует положение печати словами пророка Исаии о запустении «столицы Эдомской», которая стала жилищем зверей пустыни. (См. собр. соч. кн. С. Н. Трубецкого, т. 1, стр. 82 и след.).

При полном безгласии печати статьи С. Н. произвели своего рода сенсацию в Москве и Петербурге. Они читались нарасхват. Характерно письмо, которое он получил по этому поводу от одного старого приятеля и коллеги:

«Милый друг, поздравляю тебя! Хотя единое смелое слово! Говори и пиши и кричи побольше. Вам, независимым и богатым, следует так говорить. Мы теперь в таком положении, что надо молчать, а то последнее потеряешь. 24 года служу, прожил на профессуре своих 60 тыс., а дослужусь ли до пенсии вопрос… Поневоле молчишь, хотя многое хотел бы сказать». В таком приниженном состоянии русских мыслящих людей С. И. видел величайшую опасность.

«Убивая общественную самостоятельность, мы обращаем в труп самый организм государства. Тормозя свободное развитие общественной мысли, мы развиваем нездоровое брожение умов. Разбивая общество на его атомы, обращая его в пыль, мы рискуем, что эта пыль при первой же грозе обратится в грязь, в которой потонет бюрократическая машина». (там же).

В числе благодарственных и приветственных писем, полученных С. Н. за эту статью, было письмо и от Б. Н. Чичерина, о котором, к сожалению, мы знаем только по ответному письму С. Н. (См. прилож. 10).

Высоко чтя Б. Н. Чичерина, С. Н. искал у него поддержки в

своей публицистической деятельности и неоднократно обращался к нему с просьбой выступить в печати и сказать свое авторитетное слово по злободневным государственным и общественным вопросам. (См. прилож. 12).

***

Еще в марте 1899 г. С. Н. решил засесть за окончание своей диссертации «О Логосе», но закончить ее ему все мешали университетские дела и беспорядки и постоянная дерготня и хлопоты по своим и чужим делам. В ноябре он уехал в Сергиев Посад, чтобы там, в тишине и спокойствии отделать последнюю главу. Он надеялся, что диспут состоится в декабре. Но Л. М. Лопатин, его официальный оппонент, отказался приготовиться к нему в такой короткий срок, и, в конце концов, диспут состоялся лишь 23 марта 1900 г.

Диспут этот был событием не только в университетском мире. Впервые в нашей научной литературе богословская тема являлась в свете научно-философской обработки и новейшей исторической критики. Задолго до начала диспута зал был переполнен народом, при чем в числе публики было заметно порядочное количество духовенства.

Когда прочли отзыв факультета и С. Н. провозгласили доктором философии, студенты устроили С. Н. бурную овацию. (См. прилож. 12).

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

В конце октября 1899 года на место Горемыкина министром внутренних дел был назначен Сипягин, который еще в бытность свою московским губернатором достаточно выявил свое отрицательное отношение к городскому и земскому самоуправлению, чтобы вызвать тревогу своим появлением у власти. Одновременно среди общественных деятелей стала циркулировать записка Витте, изданная впоследствии под заглавием «Самодержавие и Земство», где доказывалась «несовместимость» свободных земских учреждений с самодержавным строем государства.

Что побудило С. Ю. Витте поставить этот вопрос ребром и одновременно выставить и поддерживать кандидатуру Сипягина? Это и в то время комментировалось различно, но, что то и другое сыграло роль как бы крупной провокации в общественной среде и сильно революционизировало ее, это едва ли кем-нибудь будет оспариваться.

Ввиду все нараставшего в стране недовольства общим курсом политики и все усиливавшегося произвола администрации, многие склонны были думать, что государь плохо осведомлен, что вступил он на престол без надлежащей подготовки, и что делами руководят его безответственные советники. Отсюда среди некоторых общественных деятелей возникла мысль представить государю всеподданнейшую записку с изложением истинного положения дел и настроения в стране. Д. Н. Шипову было поручено обдумать и подготовить тезисы для такой записки и собрать известных общественных деятелей для ее обсуждения (См. подробно об этом Д. Н. Шипов, «Воспоминания и думы о пережитом», Москва 1918 г. стр. 135–155.).

К участию в этих совещаниях были привлечены между прочим брат мой и Ф. Д. Самарин. Здесь впервые, их расхождение по вопросам внутренней политики нашло себе определенную формулировку. В числе предложенных на обсуждение тезисов стоял между прочим вопрос о привлечении в Государственный Совет избранных представителей от общества и учреждений для обсуждения законопроектов прежде внесения их на рассмотрение Государственного Совета, а также обсуждение этих законопроектов в печати. Участие общественных представителей предполагалось дальше и в обсуждении вопроса об организации

порядка и условий общения царя с народом…

Хотя Ф. Д. Самарин признавал, что только при самом широком развитии самоуправления и возможно теперь самодержавие, и что управление Россией через посредство одних чиновников безо всякого участия общественного элемента-невозможно, он, тем не менее, опасался, что привлечение выборных представителей к законодательной деятельности явится шагом к конституционному режиму. Все доводы его оппонентов, которые указывали, что нельзя ограничиваться констатированием существующей ненормальности нашей государственной жизни, говорить о возвращении самодержавию его исконного земского характера, о необходимости тесного единения самодержавной власти с народом и не наметить в то же время путей и почвы для создания этой связи, не могли убедить Ф. Д. и он отказался в дальнейшем участвовать на совещаниях. В письме от 21 ноября 1900 г. на имя Шипова Ф. Д. Самарин так мотивировал свое решение:

«Ненормальность отношений правительства к обществу занимает, конечно, видное место, но сводить всё к одной этой причине едва ли правильно. Недоверие власти до известной степени оправдывается самым характером нашего общества, которое не обладает необходимою нравственною силою, устойчивостью и ясностью убеждений и способностью к дружной работе. В обществе преобладают течения отрицательного свойства: отрицательное отношение к вере отцов, к истории своего народа, к его пониманиям и быту. Большинство вожаков нашего общественного мнения смотрит на самодержавие, как на государственную форму, отжившую свой век, и считает необходимым вести борьбу с этим злом… Вследствие этого нельзя утверждать, что правительство только по недоразумению не доверяет обществу». Соглашаясь, что правительство поступает неправильно, постоянно стесняя общество, Ф. Д. признавал необходимым, чтобы правительство изменило свою систему, «не потому что оно может или должно доверять обществу, а потому что нынешняя политика совершенно не достигает цели.

Полицейскими мерами невозможно побороть отрицательное отношение умов. Только привлекая общество к практической работе над государственным и общественным делом, можно противодействовать современному направлению мысли и создать посредствующую между народом и властью среду, которая должна с одной стороны верно выражать мысль и волю народа, а с другой — служить проводником для действия власти на народ».

Этими, именно, мыслями руководился, по его собственному признанию, и составитель проекта тезисов, Д. Н. Шипов. Затем в

письме Ф. Д. Самарина говорилось: что «меры, предполагаемые в тезисах, составляют сущность так называемой „либеральной программы“, хорошо известной правительству, и рекомендовать ее, — значило бы советовать правительству, чтобы оно свое нынешнее, одностороннее и ложное направление заменило другим, противоположным ему, но не менее ошибочным и односторонним».

В свою очередь и брат С. Н. отказался от участия в дальнейших обсуждениях намеченных тезисов, но по диаметрально противоположным мотивам: он видел в них славянофильскую закваску, от которой совершенно отступился за последние годы. Он пришел к ясному сознанию, что единственный путь спасения России — в организованности общественных сил и участия их в управлении страной.

«Он находил, — пишет Д. Н. Шипов, — мысль о восстановлении идейного самодержавия утопичной, не считал возможным устранить произвол властей без его ограничения, видел единственный выход из переживаемого страной тяжелого положения в решительной замене приказного строя строем конституционным и, исходя из этих положений, признавал подачу предполагавшейся записки бесцельным и бесполезным делом».

От славянофильства С. Н. отошел давно, с самого начала 90-х годов и уже в его статье о К. Леонтьеве (1892 г.) (См. прилож. 13) заключалось, как он говорил, его формальное отречение от славянофильства. С. Н. вообще чужд был догматической предвзятости и внутренний критерий его сознания опирался на внутренний жизненный опыт религиозного характера и им освещался и просвещался. Подход к разрешению каждого вопроса был для него непосредственно жизненный, а потому утопичность славянофильских воззрений не могла не вскрыться перед ним при свете исторической критики и проверки их положений… (См. прилож. 14).

Сближение с В. С. Соловьевым, зима, проведенная им в Берлине, знакомство с Гарнаком и другими немецкими профессорами, более близкое ознакомление и изучение церковного вопроса, вскрыли перед ним недочеты славянофильского отношения к западным вероисповеданиям, голодный год и соприкосновение с русской действительностью дали ему жизненно осознать, что на самом деле самодержавия у нас нет и при современных государственных условиях и быть не может, что это какая-то фикция и самообман.

В своей статье «На Рубеже» С. Н. пишет:

«Существует самодержавие полицейских чинов,

самодержавие земских начальников, губернаторов, столоначальников и министров. Единого царского самодержавия в собственном смысле не существует и не может существовать. Царь, который при современном положении государственной жизни и государственного хозяйства может знать о пользе и нуждах народа, о состоянии страны и различных отраслей государственного управления лишь то, что не считают нужным от него скрывать, или то, что считают нужным ему представить; царь, узнающий о стране лишь то, что может дойти до него через посредство сложной системы бюрократических фильтров, ограничен в своей державной власти более существенным образом, нежели монарх, осведомленный о пользе и нуждах страны непосредственно ее избранными представителями, как это сознавали еще в старину великие московские государи.

Царь, который не имеет возможности контролировать правительственную деятельность или направлять ее самостоятельно, согласно нуждам страны, ему неизвестным, ограничен в своих державных правах тою же бюрократией, которая сковывает его. Он не может быть признан самодержавным государем: не он держит власть, его держит всевластная бюрократия, опутавшая его своими бесчисленными щупальцами. Он не может быть признан державным хозяином страны, которой он не может знать, и в которой каждый из его слуг хозяйничает безнаказанно, по-своему прикрываясь его самодержавием. И чем больше кричат они об его самодержавии, о чудесном, божественном учреждении, необходимом для России, тем теснее затягивают они мертвую петлю, связывающую царя и народ. Чем выше превозносят они царскую власть, которую они ложно и кощунственно обоготворяют, тем дальше удаляют они ее от народа и от государства…

А между тем народу нужен не истукан Навуходоносора, не мнимое мифологическое самодержавие, которое в действительности не существует, а действительно могущественная и живая царская власть, свободная, зиждущая, дающая порядок и право, гарантирующая законность и свободу, а не произвол и бесправие. Долг верноподданного состоит не в том, чтобы кадить истукану самодержавия, а в том, чтобы обличать ложь его мнимых жрецов, которые приносят ему в жертву и народ и живого царя» (Собрание сочинений т. I, стр. 466–468.).

Понятно, статья, заключавшая эти строки, не была допущена к печати по цензурным соображениям и та же участь постигла и статью С. Н. «Накануне Нового года», (31 декабря 1901 г.).

Эпиграфом к этой статье является четверостишие из «Мистерии» Козьмы Пруткова:

«Есть бестолковица,
Сон уж не тот,
Что-то готовится,
Кто-то идет».

Четверостишие это, по мнению С. Н., как нельзя лучше характеризует состояние русского общества, просыпающегося после двадцатилетней спячки. Сначала под бдительной охраной сторожей сон был глубок и безмятежен, даже не снилось ничего. Потом с голодного года покой был нарушен, начался какой-то перелом. Усилившееся чувство общего недомогания стало тревожить нас всякого рода сонными мечтаниями, той возрастающий бестолковицей, которая обычно предшествует пробуждению. «Сон уж не тот!». Мы чувствуем, что так дальше нельзя. Пора вставать, давно пора. Перед обществом те же задачи, те же вопросы, что 20 лет тому назад, только бесконечно осложнившиеся и замутившиеся — вопросы жизни и смерти русского общества, просвещения и культуры. «Патриотизм истинный и глубокий необходим в наши дни более, чем когда-либо. Но для того, чтобы действительно служить престолу и отечеству, он должен быть нелицемерным и просвещенным, он должен выражаться не одними междометиями и холопскими речами, а правдивым и бесстрастным, разумным словом, он должен доказывать себя делом, а не озорством, сея мир, а не всеобщее озлобление. Он должен служить охранению и прогрессу, не насилию над совестью, не угашению мысли общественной, не разложению общественных элементов. Патриотична ли программа последовательной систематической дезорганизации русского общества? Патриотично ли реакционное стремление задушить, подавить, парализовать всякое самостоятельное проявление общественности? Очевидно, нет! А между тем в наши дни есть охранители, которые именно в этом полагают свой патриотизм, не сознавая, какую разрушительную проповедь они ведут, и с каким трудом придется будущим охранителям восстановлять те основы, которые они подрывают. Они не сознают, что для правильного разрешения общественных задач, также и для просветительных, культурных и политических задач современного государства, необходима здоровая организация общества и живое развитие общественной мысли. Это первое, что требуется. Недуги общественные нельзя лечить путем последовательных ампутаций и нельзя держать общество под хлороформом. Не в этом во всяком случае должны заключаться программы действительного охранения» (Собрание сочинений т.

I, стр. 452.).

«Аберации современного консерватизма» С. Н. объяснял себе недостатком искренности, просвещения и сознания государственных задач России, откуда растерянность одних и тупой фанатизм других, бестолковица нашей жизни, которая нарастает, становится мучительной и тревожной, отнимая всякое чувство уверенности в завтрашнем дне.

II

А завтрашний день сулил небывалую вспышку студенческих волнений по всей Империи.

9 февраля 1901 г. московские студенты вынесли резолюцию о необходимости вступить на путь общественно-политической борьбы и открыто признать всю несостоятельность борьбы за академическую свободу в несвободном государстве… С легкой руки Витте «несовместимость» самодержавия с какими-либо культурными начинаниями и общественным развитием России все более проникало в сознание интеллигентных масс, и агитация в университете использовала ее, как новый лозунг для борьбы с правительством. Московская администрация решила на этот раз прибегнуть к самым крутым мерам. «Я помню, — писал впоследствии кн. Е. Н. Трубецкой, — ужасное состояние моего покойного брата, когда в дни „сердечного попечения“ московские студенты поплатились за сходку ссылкою в Сибирь. Узнав об этом решении, пока оно еще было только намерением московских властей, он отправился в Петербург хлопотать за своих учеников. Оказалось, что о „решении“ не был осведомлен сам покойный П. С. Ванновский: он впервые узнал о нем из уст С. Н. и был бессилен остановить его исполнение: он даже не мог добиться необходимой для этого аудиенции. Кажется, трудно вообразить себе более яркую иллюстрацию режима. Министр народного просвещения не знал, что усиленная охрана поджигает его дом со всех четырех концов: он сам с университетом оказался его жертвой». (См. прилож. 15).

Таким образом, сам П. С. Ванновский оказался бессилен остановить исполнение приговора над участниками сходки 9 февраля, и это только способствовало усилению агитации и брожению среди студенчества. С осени 1901 г. беспорядки возобновились во всех высших учебных заведениях и по самому ничтожному поводу, вследствие статьи кн. Мещерского в «Гражданине» о взаимоотношениях между мужской и женской учащейся молодежью. Статья эта была принята, как оскорбление

всей учащейся молодежью, и студенты и курсистки требовали удовлетворения от кн. Мещерского. (См. прилож. 16).

Ввиду того, что директор Московских Женских курсов, проф. В. И. Герье не выступил в печати против Мещерского, студенты готовились устроить против Герье враждебную демонстрацию.

С. Н. удалось воздействовать на студентов для предотвращения скандала, который они собирались устроить Герье.

5 октября после лекции С. Н. пригласил студентов, желающих поговорить с ним по делу профессора Герье в малую словесную аудиторию и обратился к ним с речью, которая воспроизведена была по стенограмме с незначительными пропусками одним из ближайших учеников С. Н., А. И. Анисимовым, который напечатал свои воспоминания («Князь Сергей Николаевич Трубецкой и Московское студенчество».) в номере первом журнала «Вопросы Философии и Психологии» за 1906 г.

Мы приведем здесь эту речь целиком, так как она необычайно ярко рисует характер отношений С. Н. к студентам и очень верно передает тон его разговорной речи…

«К сожалению, я слышал, — сказал он, — что среди студентов всех курсов и факультетов господствует довольно интенсивное возбуждение. Всякие студенческие беспорядки крайне меня тревожат, всегда горячо принимаешь их к сердцу: волнуешься за судьбу университета, за то, что многие пострадают в результате фактически. Но здесь я не знаю… Больно за наше студенчество, потому что в самом деле, как предположить такой недостойный студентов поступок! Человек, который с университетской скамьи идет одной прямой дорогой, поддерживая честь университета, отстаивая его автономию, отстаивая корпоративные права студентов и заступаясь за старый „Союзный совет“, человек, которого чуть не выставляли за это заступничество, который никогда не менял своих убеждений, и вдруг!.. за что же его так незаслуженно оскорблять? — Неужели за то, что он не стал полемизировать с одним из самых гнусных органов… Нельзя забыть заслуг Владимира Ивановича и перед женским образованием, которые во всяком случае громадны. — Вы не можете представить себе, какая агитация ведется против курсов, и какие пустые иногда поводы выставляет правительство к их закрытию. В этом отношении на В. И. Герье падала тяжелая обязанность отстаивать их, и многие действия Владимира Ивановича вызываются вечным страхом за их существование. — Мне кажется, что наша прямая обязанность помешать готовящейся демонстрации. — Я уверен, что, будь это в руках студентов филологического факультета, большинство было бы за

него. Когда-то и я был студентом, и у меня были очень крупные столкновения с ним, из-за чего я даже ушел с исторического отделения (Помнится, что столкновение с Герье у Сергея Николаевича вышло по поводу его занятий философией. Владимир Иванович в резкой форме заметил ему, что ему лучше заниматься историческими науками, и что философия пристала к нему, „как к корове седло“… Сергей Николаевич с трудом сдержался от резкого ответа, но тут же решил перейти на классическое отделение, чтобы не встречаться с Герье.). Но потом я оценил его. Не знаю, что я готов был бы сделать, чтобы помешать скандалу, для Московского университета, и я уверен, что большинство филологов, не только те, которые здесь, но и все бывшие питомцы нашего факультета, нас за него осудят. Дело в том, что студенты других факультетов часто совершенно не имеют понятия ни о Владимире Ивановиче Герье, ни о его деятельности. Мне кажется, надо действовать в том направлении, чтобы знакомить студенчество с истинным положением дела. Скажу прямо, у человека этого не было ни разу случая, чтобы он изменил своему университетскому делу! — Ведь не у всех профессоров такая достойная репутация. Но он не только не изменял, он никогда не был индифферентен, он всегда шел во главе, и вдруг студенты собираются осрамить на старости лет этого человека. Об этом даже тяжело подумать. Против кого же хотят протестовать? Против Мещерского или против Герье?

Нельзя смешивать такие противоположные личности: Герье и Мещерский. Есть лица, с которыми нельзя полемизировать. Я себя спрашивал: будь я на месте Герье, как бы я поступил? Может быть, если бы у меня были слушательницы, которые просили бы меня об этом, я бы и уступил, но сам по себе я этого бы не сделал. Ведь, в самом деле, вы, вероятно, не читаете „Гражданина“? Полемизировать же с ним все одно, что полемизировать с „Московскими Ведомостями“ по университетскому вопросу. И не нападаете же вы на каждого из нас за то, что мы с ними не полемизируем, потому что там каждый день чорт знает что пишут. Я не осудил бы В. И. Герье, если бы он, уступая требованиям, написал в опровержение Мещерского, но это доказывало бы нехорошее: человек должен делать то, в чем убежден, а ведь это — насилие. Мне кажется, что студенчество может избрать другой способ: заявить протест Мещерскому. И это было бы естественно. Если есть внушительная организация, которая действует в этом направлении, то с ней, мне кажется, должно бороться и обратиться теперь же к отдельным профессорам: пусть говорят со своими слушателями, пусть обсудят вместе этот вопрос»…

По словам Анисимова, под впечатлением этой речи С. Н. тотчас же сорганизовалась группа студентов, задавшихся целью предотвратить беспорядки, «привив студенчеству свой взгляд на дело Герье». Это удалось им не без трудной борьбы, так как агитаторам, в сущности, совершенно безразличны были все достоинства Герье. Кн. Мещерский являлся для них представителем реакционной клики, а Герье тем профессором, который не желает выразить ему свое негодование. Но благодаря дружному содействию наиболее популярных профессоров, непосредственно от себя обращавшихся к студенчеству, удалось направить недовольство в другое русло, организовать курсовые собрания для выработки формы протеста по адресу Мещерского. Была учреждена специально разрешенная комиссия профессоров под председательством П. Г. Виноградова, которая совместно с выборными представителями от студенчества выработала форму протеста: но министерство оставило это дело без удовлетворения… Это поставило в очень тяжелое положение профессоров, участвовавших в комиссиях и, в особенности, П. Г. Виноградова, который, чувствуя, что почва уходит из-под его ног, и что моральный авторитет профессоров не может не пострадать от той комедии, которую им пришлось разыграть, поддерживая надежду на нормальное разрешение волновавшего студентов вопроса — решил покинуть Московский университет и уехать заграницу.

Перед отъездом он высказывал, что «скоро» в университете останется место для борьбы только двух крайних партий — правительства и революционеров: все, кто надеется на легальное разрешение университетского вопроса, будут лишены поддержки и справа и слева и будут одинаково ненавистны и тем и другим. Он видел университет накануне величайшего кризиса и не находил слов для осуждения тактики правительства, слепо и сознательно роющего могилу будущей русской культуре. В таком же состоянии находился и С. Н. Он буквально метался, не находя себе места: ездил к Виноградову, уговаривая его не уходить, наконец, сам собирался в отчаянии и тоске бросить университет… и все-таки остался. Впоследствии он не раз говорил, что П. Г. Виноградов, с его точки зрения, не должен был оставлять кафедры и оставаться в университете до конца (См. Вопросы философии и психологии, 1906 г., кн. 1/81 стр. 157.).

Постоянное нервное напряжение и утомление не только озабочивало семью С. Н., но и друзей его. (см. прилож. 17).

III

П. Г. Виноградов покинул Москву 21 декабря 1901 г., а 29 декабря вышли знаменитые «Временные правила» организации студенческих учреждений, которые еще подлили масла в огонь. Правила эти вводили постоянный контроль инспекции, возлагали функции полицейского характера на профессоров и студентов, вводили мелочную регламентацию и вполне игнорировали существующие курсовые и студенческие организации. Совет университета единодушно высказался против применения этих правил, а студенчество решило собрать общую сходку 3 февраля с целью составления резолюции с ясно выраженным политическим характером требований и — беспорядки пошли писать по всем высшим учебным заведениям столицы и Империи. Разумеется, не все студенчество хотело принимать в них участие, и многие тяготились невозможностью заниматься.

После истории с Герье на старших курсах филологического факультета стала крепнуть и усиливаться партия сторонников академической свободы, которая стала известна среди студентов под именем партии «академистов» или «академической». Сергей Николаевич вступил в самое тесное дружеское общение с главарями этой партии, читал их бюллетени и высказывал свое мнение о них. Одновременно и в Петербурге зародилась партия «Университет для науки». Возмущенные «Временными правилами», московские академисты считали забастовку в занятиях вполне допустимым приемом борьбы, петербургские же безусловно отвергали ее, и Сергей Николаевич старался убедить и московских академистов в недопустимости такого антиакадемического средства борьбы.

«Поймите, против кого вы боретесь, бастуя, — говорил он с какой-то тоской, прижимая руки к груди. — Против правительства? Нет! против университета. Вы бьете только нас и самих себя!» (Вопросы философии и психологии, кв. 1, 1906 г. Воспоминания Анисимова.)

«Внешними репрессиями, — писал С. Н. еще в 1897 г. („Русская Мысль“, 1897 г., „Университет и студенчество“, Собр. соч., т. I.), — нельзя добиться самого главного и необходимого — внутренней нравственной реформы студенчества: нужно изменить самую атмосферу, в которой оно живет, сделать ее лучшею в глазах самих студентов. Нужно создать такую форму студенческого общения на почве чисто университетской, которая могла бы удовлетворить всем лучшим и законным требованиям, потребностям студенчества.

Нужно не разделять его, не дезорганизовать, не противиться естественному стремлению к взаимному общению, а наоборот, сплотить студенчество в организацию чисто академическую,

нравственно сильную, солидарную с университетом, объединить его во имя высшей цели — наилучшего подготовления к общему служению родной земле».

IV

24 февраля 1902 г. С. Н. собрал у себя на квартире (Кудринская, дом Эйлер) совещание из представителей академической партии и нескольких профессоров, и здесь было выработано некоторое соглашение по вопросу о дальнейшем возобновлении занятий. Главным результатом этих совещаний было основание Историко-филологического Общества, которое было встречено горячим сочувствием со стороны студентов и, как увидим, уже в марте насчитывало до 800 членов. (См. прилож. 18). Утверждение устава Студенческого Историко-филологического Общества произошло в марте 1902 г. и на первом собрании С. Н. был единогласно выбран председателем, а А. А. Анисимов секретарем Общества. Публичное же торжественное открытие Общества состоялось осенью 6 октября в совершенно переполненной Большой физической аудитории Московского университета и прошло блистательно. Доступ на собрание был открыт не только для членов Общества, но и для всех студентов и в собравшейся толпе, разумеется, не все сочувствовали зарождающемуся Обществу, что и обнаружилось вскоре в разбрасываемых прокламациях «Исполнительного комитета». С. Н. не без страха шел на это первое публичное собрание: неосторожно сказанное слово, малейшая бестактность могла бы скомпрометировать Общество в глазах правительства и при наличии горючих материалов разрастись в новую студенческую историю, но, по счастию, опасения оказались напрасными, и ничто не омрачило торжества. В речи своей, сказанной с обычным ему подъемом, С. Н. говорил студентам, что судьба Общества всецело в их руках. Никакая свобода не дается сама собой и приобретается усилием и трудом, и академическая свобода будет мертва, если ей не будет соответствовать деятельная академическая жизнь. Никакие реформы не могут исчерпываться уставом.

«Мы нуждаемся, — говорил С. Н., - в реформе жизненной, изнутри идущей, нужен подъем академической жизни, увеличение производительности университетского труда. Нельзя складывать всю вину на „независящие от нас обстоятельства“.

Учитывая все трудности настоящей жизни, мы все же должны придти к заключению, что мы должны делать больше, чем мы

делаем, и давать больше, чем даем, для того, чтоб университет исполнил свою настоящую миссию и сделал науку реальной и живительной общественной силой, созидающей и образующей, которая простирает свое действие на все слои народа, поднимает и просвещает самые низшие из них. Для достижения этой высокой цели должно трудиться не одно поколение.

Но раньше, чем думать о распространении вширь университетского образования, мы должны постараться удовлетворить стремление к самообразованию в самом университете.

Естественно, как бы хорошо ни были выработаны факультетами планы, все те интересы, с которыми приходит студент в университет, не могут быть втиснуты в тесные по необходимости рамки факультетского преподавания. Отсюда вытекает, что потребность в самообразовании, а также потребность в чисто специальном научном знании не являются должным образом удовлетворенными.

Историко-филологическое Общество не предназначается для одних историков и филологов, но для всех студентов, которые пожелают пополнить свое образование в области наук гуманитарных, философских и наук общественных и юридических. Устав дает нам право открывать неограниченное количество самостоятельных секций сообразно потребностям наших членов. Каждая из этих секций является вполне самостоятельной, вырабатывая сама свою инструкцию. Каждая секция может специализировать свои занятия, насколько ей это удобно, организовать их как угодно, и, вместе с тем, надеемся, что каждая из них будет делиться с нами теми сообщениями, которые могут представить интерес для других секций и для всего нашего общества».

В заключение С. Н. сказал, что в учреждении Общества он видит не только отрадное событие, но и трудную ответственную задачу, которая ему представляется как бы своего рода испытанием зрелости, которому подвергается студенчество. «Вам дана академическая организация, свободная ничем не стесненная, широкая, соответствующая уставу, который вы сами выработали: вам дана возможность широкой академической деятельности в стенах университета; вам даны обширные средства для достижения ваших целей; вам никто не хочет мешать, напротив, все готовы вам помогать, когда вы этого пожелаете, но вместе с тем вам предстоит показать, что вы можете сделать, вам предстоит показать перед университетом, насколько вы зрелы в смысле общественном, и насколько свободная академическая организация представляет более прочные гарантии порядка, чем

всякая другая. Итак, господа! Оправдайте наши лучшие надежды и не посрамите тех, кто верит в ваше дело. Отпраздновав сегодняшний праздник, обратимся к дружной совместной и плодотворной работе».

Открытие научного студенческого Общества было, действительно, праздником для С. Н. Речь его, сказанная с искренним душевным подъемом, передала его настроение толпе и зажгла массу: сотни студентов ответили ему горячими рукоплесканиями (А. И. Анисимов в своей статье «Кн. С. Н. Трубецкой и студенчество» приводит эту речь полностью по стенограмме. См. «Вопросы философии и психологии», 1906 г., кн. 1.).

«Мне неоднократно приходилось, — пишет Н. В. Давыдов в своих воспоминаниях, — присутствовать при словесных выступлениях С. Н. в совершенно различных по личному составу собраниях, и быть свидетелем производимого им на слушателей впечатления, склонявшего принципиальных противников его к уступкам и даже принятию полностью его мнений.

Особенно рельефно сказывалась эта свойственная С. Н. сила на студенческих собраниях и, между прочим, им же организованного студенческого Историко-филологического Общества. В то время (1902–1904) „политические течения“ проникли в академическую жизнь и, возбуждая университетскую молодежь, вызывали с ее стороны радикальные выступления, протесты и всевозможные нападки, даже на бюро Историко-филологического Общества, в сущности, вызываемые только охватившим студенчество возбуждением, потребностью протеста, во что бы то ни стало. Во главе бюро стоял основатель Общества, Трубецкой, а, следовательно, протесты направлялись и против него. Но стоило только Трубецкому выступить на заседании Общества с речью и увещанием, и протесты и нападки падали сами собой, и нападавшие в числе других бурно аплодировали и приветствовали слова С. Н., так как они всегда были искренни, убедительны и будили в сердцах молодых слушателей и оппонентов лишь благородные чувства».

Н. В. Давыдов верно отмечает, что — практичность обыденная, сказывающаяся в умелом устройстве личных дел материальных и карьерных, не была свойственна С. Н., но он обладал совершенно иной практичностью, проявлявшейся в его общественной деятельности. Он умел на этом поприще достигать положительных результатов, умел объединять людей разных взглядов и направлять их деятельность к одной общей цели: он был удачный организатор и умел, будучи идеалистом чистой воды, идти к осуществлению задуманного благого дела на

известные компромиссы именно в той степени, при которой они не грозили искажением заложенных в дело принципов. Громадную помощь в этом отношении оказывала С. Н. его обаятельность и убеждение лиц, к которым он обращался, и целых общественных групп в его искренности, уме и благородстве мыслей. С. Н. убеждал и побеждал слушателей своими выступлениями и речами, хотя красноречием он не обладал. Речь его не отличалась ни красотой выражений и образов, ни плавностью, но в ней звучала глубокая убежденность, вера в дело, за которое он ратовал, неотразимая логика и та особенная духовная сила, неподдающаяся учету, неуловимая, зависящая от особой талантливости, но властно покоряющая слушателей.

Успех общества превзошел все ожидания. Вскоре после своего основания оно разбилось на многочисленные секции, где занятия шли вплоть до волнений 1905 г. Не только радостью, счастьем сияло лицо С. Н., когда на секционных собраниях ученики его и другие студенты выступали с научными рефератами, когда между ними завязывался горячий научный спор, поднимались интересные прения, и на почве академической науки воочию зарождалась органическая связь и известная близость между преподавателями и слушателями. Эта эпоха, предшествовавшая потрясениям 1905 г., была полна интереса и, казалось, обещала направить течение академической жизни в надлежащее русло. (См. прилож. 19).

Осенью 1903 г., перед самым отъездом заграницу, С. Н. с делегацией студентов от Историко-филологического Общества посетил приехавшего в Москву Б. Н. Чичерина, избранного почетным председателем Общества. Больной, разбитый параличом, он заплетающимся, слабым языком ответил на приветствие, сказанное ему студентом Херасковым от лица делегации, как старейшему представителю и борцу за академическую свободу. С. Н. рассказывал нам после, что он рад был, что студенты не расслышали речи Бориса Николаевича, смысл которой был весьма воинственный…

V

С. Н. считал себя почему-то плохим педагогом. Он, по-видимому, не отдавал себе отчета в том, как он умел подчас действовать на своих слушателей. Вспоминаю, как однажды В. О. Ключевский, обедавший у нас, полушутя полусерьезно обратился к супруге С. Н., Прасковье Владимировне:

— Хочу вам пожаловаться на вашего мужа… Он не

рассказывает вам, что он делает на женских курсах?..

— Нет. А что?..

— Да — так нельзя обращаться с молодыми барышнями!.. И вы, Сергей Николаевич, пожалуйста, примите это серьезно к сведению. У меня есть курсистка, родственница, — я за нее отвечаю. Так, намедни она вернулась домой, — я думал — разбаливается… надела платок, а сама вся дрожит, как в лихорадке. Поймите! От внутреннего озноба дрожит. Вы ее потрясли совсем, до основания потрясли! В ней целый переворот какой-то совершается. Не знаю, что мне с ней делать!.. Вы серьезно не знаете, что вы творите! Так — нельзя! оторвал Василий Осипович, откидываясь на спинку стула.

А брат, смущенный и красный, молча улыбался, вертя свою тарелку.

Что сразу подкупало в нем, как студентов, так и курсисток, это простота и дружелюбный тон его обращения с ними. Они чувствовали и видели в нем искренно расположенного к ним человека, руководителя и друга.

«Несмотря на всю разницу положения, возраста и познаний, — говорил один из его учеников, Б. Фохт, — С. Н. в своем обращении с нами всегда умел оставаться для нас как бы старшим товарищем. Уже с первого момента его появления на кафедре в университете между ним и нами завязывались совсем своеобразные, задушевные отношения. Происходило это от того, что в самом его существе было что-то молодое, светлое, располагающее к доверию, а первые слова его вступительной лекции тотчас же усиливали это прекрасное впечатление: в них он с особенным проникновенным чувством говорил об университете, о его великом просветительном значении, о науке и тех отношениях взаимного уважения, в которые, по его убеждению, мы должны были стремиться вступить с нашими преподавателями. В простых и ясных, но в то же время чрезвычайно убедительных выражениях призывал он нас любить науку и университет, несмотря на многие стеснительные условия его внутренней жизни. Хорошо сознавая существенные недостатки нашего академического строя, он, тем не менее, с большим воодушевлением приветствовал наше вступление в Московский университет, говорил о важности этого момента в нашей жизни и характеризовал его, как освобождение от гнетущих условий, в которых мы находились в средней школе. Здесь он особенно оживлялся и с глубоким возмущением и скорбью разоблачал перед нами все мрачные стороны и вред нашего гимназического преподавания: он делился с нами своими собственными воспоминаниями о времени своего пребывания в

гимназии, говорил, как самому ему по выходе из этого „почтенного заведения“ пришлось всему переучиваться.

Он хотел и умел пробудить в нас веру в наши силы и энергично призывал нас к самостоятельному труду: он требовал, чтоб в наших университетских занятиях мы старались, по возможности, держаться на собственных ногах и были всецело преданы делу науки. Затем он говорил о вреде преждевременной специализации и настаивал на необходимости для каждого из нас приобрести широкое историческое образование. Характерно, что он предостерегал даже от излишнего увлечения философией.

„Те из вас, — говорил он, — кто пожелал бы сделать философию предметом специального изучения, не должны забывать о значении для них общего исторического образования: философию вы будете изучать всю жизнь, а недостаток общего образования вам трудно будет пополнить впоследствии, если здесь вы не обратите на это должного внимания“. И еще много других ценных советов и указаний давал он своим юным ученикам, и в каждом его слове звучала такая неподдельная искренность, такая вера в свое дело и любовь к науке и молодежи, что впечатление от его речи было необычайное. Свою лекцию он заканчивал, обыкновенно, повторением указания на значение университета, как культурного просветительного центра, столь необходимого в наше смутное и тяжелое время. С глубоким волнением в голосе он горячо убеждал нас беречь университет и не забывать, чем все мы ему обязаны».

С. Н. всегда особенно серьезно относился к своей вступительной лекции, справедливо признавая за ней большое педагогическое значение. Каждый раз придавал он этим лекциям новую форму, и они всегда привлекали громадное число слушателей, а в последние два года вызывали целую бурю восторга.

Для большинства учеников С. Н. эти первые лекции были и первым знакомством с ним, почему они и вспоминают об этом с особым чувством признательности.

«Молодые и неопытные первокурсники, вчерашние гимназисты, привыкшие к суровому казенному режиму гимназий с их безучастным отношением к духовной личности ученика, для которых университет являлся на первых порах чем-то чуждым и непонятным, встречали в С. Н. опытного и чуткого руководителя, который сразу указывал правильный путь для научных занятий. Каждый, кто к нему приходил, быстро терял это чувство одиночества, затерянности, так как видел в нем учителя, готового сделать все возможное для ученика, и проникнутого горячим стремлением не дать заглохнуть пробудившимся интересам. Это

первое впечатление глубокого доверия и признательности постоянно усиливалось и росло по мере того, как продолжалось знакомство с ним, и переходило в чувство сильнейшей привязанности, так как С. Н. не только был руководителем научных занятий, но готов был горячо откликнуться на всякую нужду, на всякий запрос ищущего, хотя бы он и выходил из сферы чисто научных интересов» (М. П. Поливанов. «Вопросы философии и психологии», 1906 г.).

Студентов поражала огромная эрудиция С. Н. По всякому, даже специальному вопросу, он мог всегда назвать целый ряд руководящих работ, давая им попутно характеристику и оценку. Внушая твердые принципы и строго научные методы, он не делал свое преподавание сухим и методичным. — «Кто бывал на его лекциях и особенно на его практических занятиях, никогда не забудет того искреннего воодушевления и захватывающего проникновенного пафоса, с которым он говорил об основных моментах развития античной философской мысли и характеризовал ее величайших представителей. Он до того увлекал слушателей, что, по словам одного из них: „Словно не существовало истории, словно пали хронологические преграды, и мы — в древней Элладе, которую с безграничной восторженностью рисует С. Н. Мы современники Фалеса, Ксенофона, Парменида. Их тени реют в притихшей аудитории: талантливый профессор сблизил античность и современность. Даже о необыкновенном ярком, синем, густом воздухе Греции он умел говорить так, что на мгновение казалось, что видишь перед собой этот воздух“» (Розанов, «Кн. Трубецкой», Москва 1913 г.).

«А часы семинарии по Платону под руководством С. Н.! незабываемые часы вниканий в благоуханные диалоги величайшего из мыслителей, когда наш вождь вставал перед нами во весь свой рост, когда мы видели его перед собой во всем блеске и великолепии его богатых дарований: то в роли историка греческой культуры, то как ученого филолога, благоговейно интерпретирующего каждую букву платоновского текста, то в роли неуязвимого и тонкого диалектика, бережно распутывающего пряжу возвышенных платоновских построений. С. Н., наизусть цитирующий по-гречески целые отрывки из „Метафизики“ Аристотеля; С. Н., осторожно разбирающий новейшие замысловатые теории в области „Platonische Frage“. Ярким примером своего одухотворенного преподавания учил нас С. Н. „жить“ с философом, но только при этом сожительстве считал он плодотворным штудировать классиков философии. И мы жили с Платоном и Платоном» (Борис Фохт. «Памяти Кн. С. Н. Трубецкого». «Вопросы философии и психологии», 1906 г.).

С. А. Котляревский говорил, что он никогда не забудет лекции, посвященной Федону, в которой С. Н. смог поднять аудиторию до переживаний истинного пафоса, — «это была уже не лекция, это был истинный гимн бессмертию».

Но С. Н. не только Платоном умел увлекать своих слушателей. Мы закончим ряд выписок из воспоминаний его учеников рассказом С. С. Розанова о реферате его на заседании религиозной секции Историко-филологического Общества (С. С. Розанов. «Кн. С. Н. Трубецкой», Москва 1913 г.). Тема доклада касалась Вельгаузена, известного немецкого исследователя еврейской истории и ветхозаветного Писания.

Несмотря на то, что заглавие реферата, казалось, могло привлечь лишь небольшую группу специалистов, маленькая комнатка заседаний секции еще задолго до прихода профессора наполнилась студентами. Наконец, показалась высокая фигура С. Н. Положив перед собой русский текст Библии, обведя быстрым взглядом слушателей, он приступил к своему докладу.

«Господа, — так, приблизительно, начал С. Н., - я буду говорить на религиозную тему. Я думаю, что религиозные вопросы имеют бесспорное право на постоянный интерес, постоянное значение, я думаю, что религиозные вопросы вечны».

И затем С. Н. умелой, уверенной рукой эрудита набросал картину эволюции библейской экзегетики, восстановил главные вехи пути, пройденного этой научной отраслью. Чем дальше говорил С. Н., тем голос звучал все убежденнее, все крепчал. Мнилось, что он уже вполне овладел предметом, покорил внимание собравшихся. Торжественная тишина аудитории так гармонировала с серьезностью темы, которую, все более и более увлекаясь, дебатировал оратор… Будто высеченные резцом искусного ваятеля, вставали перед нами величавые образы еврейских пророков — этих носителей высшей Правды. С. Н. перешел к вопросу об их роли в созидании ветхозаветной теократии.

Зодчие ее, они подвигом всей жизни запечатлели свое служение делу укрепления союза между Богом и людьми. Окрыленные неугасимой верой в Ягве, они безбоязненно призывали блюсти заветы святой Правды, будили в душах живое исповедание живого Бога Правды. Огненные слова их пламенеющей проповеди жгли сердца…

«Господа! — так заключил свою взволнованную речь С. Н., держа в руках раскрытой Библию, — полюбите эту книгу, углубляйтесь в нее почаще, засматривайте в нее, старайтесь вникнуть в ее содержание, и перед вами, на этих драгоценных страницах, развернется величайшая мировая драма, грандиозная

драма Богосознания, и тогда, поверьте, вы по достоинству оцените эту заброшенную и мало читаемую книгу и сознательно причислите ее к выдающимся памятникам человеческой истории». Читая эти горячие, восторженные отзывы учеников С. Н., и думая об его забытой теперь и, может быть, разрушенной могиле, хочется верить, что такие переживания в юные годы не забываются, и что в душах их писавших Сергей Николаевич заложил себе памятник нерукотворный…

VI

С 1900 по 1901 г. Сергею Николаевичу пришлось пережить ряд тяжких утрат. 19 июля 1900 г. скончался отец его, кн. Николай Петрович Трубецкой (Кн. Николай Петрович Трубецкой (1828–1900) был женат два раза: в первый на гр. Любовь Васильевне Орловой-Денисовой (1828–1860) и имел от нее дочь Софию (1854), сына Петра (1858–1911) и дочь Марию (1860). От второго брака (в 1861) с Софьей Алексеевной Лопухиной (1841–1901) у него было 3 сына и 7 дочерей: Сергей (1862), Евгений (1863), Григорий (1873), Антонина (1864–1901), Елизавета (1865), Ольга (1867–1947), Мария (1868) — умерла в день своего рождения. Варвара (1870), Александра (1872), Марина (1877). Замечательно, что пока жив был отец, семья оставалась нетронутой в своей цельности, что было ему предсказано о. Иоанном Кронштадским. Встретив его однажды у одра болезни одного из его многочисленных внуков, о. Иоанн порывисто благословил его, взял его голову в свои обе руки и сказал: «Благословение Господне над вами. Пока вы живы, вы не увидите смерти близких своих». Так и случилось!), и несколько дней спустя, 31 июля, на его руках скончался Владимир Сергеевич Соловьев. В том же году умер близкий ему со школьной скамьи В. П. Преображенский.

Отец Сергея Николаевича болел недолго и скончался от разрыва сердца в своем имении Меньшове (Моск. губ., Подольск, у.). Сергей Николаевич в это время гостил в Узком, имении кн. Петра Ник. Трубецкого, который с женой поехал лечиться заграницу. 15 июля, как раз в день своих именин, в Узкое прибыл тяжко больной Владимир Сергеевич Соловьев. Он уже в Москву приехал совершенно больной к Н. В. Давыдову и настойчиво потребовал, чтобы он свез его к С. Н. в Узкое. Впоследствии вспомнили, что за год до этого прощания с братом и его женой он сказал им: «А если помирать начну — приеду к вам»…

По смерти отца С. Н. решил ликвидировать свою квартиру (в

Старо-Конюшенном пер.), где жил много лет, и переехал на Пресню (Б. Кудринская, д. Эйлер), чтобы жить со своей матерью. Отсюда он писал Б. Н. Чичерину:

«Теперь мы переехали на Пресню, где принаняли нижний этаж. Я поместился в кабинете отца, который остался в прежнем виде со всеми портретами и мебелью. Все напоминает его, минутами как будто его походку слышишь. Я рад, что с мама, тоскливо бы было ей остаться почти одной в доме после того многолюдства и шума, который в нем был всегда».

Но — увы, не долго длилась эта совместная жизнь. 4 марта 1901 г. скончалась сестра С. Н. Антонина Николаевна Самарина, а 20 дней спустя и сама княг. София Алексеевна, не пережившая смерти дочери. Эти тяжелые удары один за другим сильно потрясли и расшатали здоровье Сергея Николаевича.

В августе 1901 г. он тяжко заболел воспалением печени и закупоркой желчных путей. Страдания были такие жестокие, что стоны его раздавались во всем доме, и доктора (Лечил его Подольский, врач Савинский и из Москвы на консилиум приезжали д-р Фохт и Руднев, которые предполагали нарыв, что оспаривал Савинский, и оказался прав, о чем мне впоследствии рассказал д-р Руднев.) предполагали у него нарыв в печени, но, слава Богу, дело обошлось без нарыва, опасность миновала, и он стал поправляться, чему способствовала необычайно сухая и теплая осень. Физически все-таки он сильно сдал за этот год, но духом был бодр. У С. Н. была черта, которую он в себе ценил, приписывая ее семейному свойству, особой «*пружинчатости*» Трубецких, как он часто говаривал:

«Чем больше на хорошую пружину нажмешь, тем более она тебе наддаст».

И, действительно, в самые тяжкие минуты своей личной жизни С. Н. развивал особую энергию творчества, и лучшие страницы из-под его пера выходили именно в такие моменты отрыва от угнетавшей его действительности.

Вера в живую человеческую личность и ее неумирающую сущность всё жизненнее и сильнее проникала его сознание при каждой утрате.

«В каждой личности есть нечто свое, нечто незаменимое, индивидуальное, нечто такое, что в словах не высказывается и в отвлеченные формулы не укладывается, — писал он по поводу смерти Михаила Сергеевича Корелина. — И чем крупнее личность, тем сильнее это чувствуется и сознается. Если есть в человеческом сознании какой-нибудь корень или основание для общераспространенной веры в бессмертие личности, в бессмертие человеческой души, то его следует искать в том чувстве, которое

мы испытываем при потере людей, которых мы особенно чтим, любим и ценим, в сознании того совершенно неразложимого, безусловно ценного для нас нравственного „нечто“, составляющего живую личность человека, того „нечто“, которое никоим образом не может разрешиться для нас в „ничто“…»

«Чем глубже познаем мы высшие духовные возможности человека, чем интимнее и глубже мы любим и познаем человеческую личность, — писал он, тем более проникаемся мы сознанием ее безотносительной божественной ценности, той умной красоты ее, которая как бы видение открывается взору любящего и запечатлевает собою человеческую личность (См. собр. соч. т. I, „Памяти В. П. Преображенского“.). От глубины, интенсивности этого сознания и зависит вера в бессмертие („Вера в бессмертие“ (памяти Н. Я. Грота). Собр. соч. т. II.).

Тот, кто увидел „образ Божий“ в человеческой личности, не верит ее уничтожению, не верит смерти и самой физической смертью человека приводится к признанию бессмертия его духовной личности. Когда умирает открывшаяся нам, понятная, любимая, чтимая нами личность, смерть ее ощущается нами, как невыносимое противоречие и неправда, и перед нами становится вопрос, чему верить больше — материальному факту тления, видимого уничтожения, или же свидетельству нашего нравственного сознания, для которого личность остается нетленной в своей воспринятой, испытанной, пережитой нами духовности, в своей потенциальной — или осуществляющейся божественности, нами изведанной? Это вопрос, на который наука не может дать ни положительного, ни отрицательного ответа, вопрос, который не может найти окончательного решения и в области умозрения, посколько оно имеет дело с отвлеченными мыслимостями или идеями. Это вопрос веры, решаемый нами в зависимости от нашего личного духовного опыта; здесь никто не может сказать за другого да или нет, потому что ценно и действительно здесь лишь внутреннее убеждение, в котором заключается и самое знание».

Говоря о нравственном или духовном опыте, С. Н. разумеет простую, непосредственную уверенность, являющуюся в результате интимного нравственного познания личности и веры в личность, как например:

«Платон не мог не верить в бессмертие Сократа»…

«Эта вера в личность может быть сильной и непосредственной независимо от других наших верований, и она может быть осмысленной и философский оправданной… Но не философия, однако, дает ей высшее и конечное основание, поскольку отвлеченное знание здесь явно недостаточно и

удовлетворить нас не может, даже, если б оно являлось нам вполне убедительным: вера требует действительности, а не мыслимости и возможностей. Ей недостаточно убедиться в „высших возможностях“ человека, она требует их реализации. И вот почему конечное и абсолютное внутренне-последовательное выражение веры в бессмертие мы видим в христианстве, религии Богочеловека, которая признает не потенциальное только, а осуществленное, актуальное единство божеского и человеческого в лице Иисуса Христа, как живое откровение, в котором всякий, вступающий в общение веры, убеждается путем личного нравственного опыта, личного сознания.

Здесь для действительно верующего, Христос не может быть призраком, не может выражать собой и отвлеченную идею жизни, — той безличной жизни, о которой говорят иные моралисты, в которой, в сущности, никто и ничто не живет, а все личное умирает. Это — живая и бессмертная личность, „Начальник“ той жизни, в которой „все живо“, в которой упраздняется смерть и тление, жизнь полная, которая есть воскресение. И тот, кто „познал“ Христа — познает его не отвлеченно, а интимно, духовно, как личность, тот верит в Него, верит не как в призрак, и не как в идею или догмат, а верит, как в личность и в этой вере имеет норму и основание веры в действительную личную бессмертную жизнь»…

«Вера в бессмертие», — тема, над которой постоянно работала мысль С. Н. в последние годы его жизни, и на которой отдыхала его душа в минуты невообразимой суеты вокруг него даже и в 1904 г. Посвящалась она памяти Н. Я. Грота по следующему поводу. Однажды, во время ужина в товарищеском кружке, после одного из заседаний Психологического Общества спорили много и долго: речь шла о бессмертии души. Под конец кто-то предложил поставить вопрос на баллотировку: голоса разделились, и бессмертие прошло большинством одного голоса. Это, разумеется, не мешало спору возобновляться, и как-то Николай Яковлевич Грот предложил даже устроить конкурс, на эту тему. «Когда меня не будет, — говорил он горячась, — если захотите почтить мою память, назначьте премию моего имени за философскую работу о бессмертии».

Статья Сергея Николаевича является последней его философской статьей. (См. прилож. 20).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Летом 1902 г. С. Н задумал организовать студенческую экскурсию в Грецию (См. прилож, 21). Затеяв эту поездку, С. Н. энергично принялся за хлопоты. Их было не мало. Кроме исходатайствования субсидии от Министерства Народного Просвещения в размере 3.000 рублей, ему приходилось сноситься с Министром Путей Сообщения и с управлением жел. дорог, и с Министром Иностранных Дел, с Обществом пароходства и торговли, и наконец с правительством Греции и нашим тамошним посольством. Каждая малейшая подробность в практической постановке поездки вырабатывалась им лично и самостоятельно, и только при детальном знакомстве с ее организацией можно себе представить, сколько труда и энергии было им на это затрачено. Вся зима прошла в приготовлениях к этой экскурсии (См. Анисимов. «Кн. Трубецкой и Московск. Студенчество». «Вопросы философии и психологии», 1906 г., кн. 1.).

Наряду с хлопотами об экскурсии в январе 1903 г. С. Н. удалось одержать моральную победу в университете в связи с вопросом о проектировавшемся Министерством Народного Просвещения учреждении в университетах должности кураторов из профессоров (См. прилож. 22).

Весной 1903 г. Сергей Николаевич заболел крупозным воспалением легкого, которое так расшатало его здоровье, что врачи стали настаивать, чтобы он на продолжительное время уехал заграницу, где бы мог как следует отдохнуть и поправиться (Воспаление у С. Н. носило инфекционный характер. Во время февральской оттепели извозчик, везший княг. П. В. Трубецкую на Кузнецкий, вывалил ее в огромную лужу (на Углу Кисловки и Никитской). Прасковия Владимировна промокла насквозь и пока добралась домой, сильно продрогла и слегла, заболев воспалением легких. От нее заразился сперва ее старший сын, а затем и Сергей Николаевич.).

Странно, что во время болезни и сильного жара его, подобно В. С. Соловьеву, постоянно преследовала мысль о «желтой опасности». Однажды он проснулся в большом возбуждении под впечатлением виденного им сна о гибели нашего флота в Японском море. Случилось так, что в этот день к нам заехал знакомый моряк узнать о его здоровье. Услышав об этом, С. Н.

просил зайти его к себе и с тревогой расспрашивал о состоянии нашего флота и силах его на Дальнем Востоке. Беседа эта мало его успокоила: трудно было отвлечь его мысли от этого волновавшего его вопроса.

Китайские события 1900 г. сильно потрясли в свое время С. Н. и он придавал им такое же грозное значение «начала конца», как и В. С. Соловьев, с которым много и часто беседовал на эту тему, даже и в последние дни жизни Владимира Сергеевича. Ровно месяц спустя после его кончины С. Н. поместил в «Петербургских Ведомостях» под видом письма в редакцию статью, где предлагал немедленно разрешить «китайский вопрос», чего бы это ни стоило.

«Надо оградить Россию, — писал он, — и европейский мир от неминуемой беды, именно теперь, пока Китай еще беззащитен, пока горсть европейцев может разбить желтые полчища. Если наступит час, а он пробьет неизбежно, когда три или четыре китайца будут в состоянии справиться с одним европейцем, — судьба Азии, судьба европейского владычества, судьбы Англии и России будут решены».

Он видел один выход из этого положения — раздел Китая… Статья эта, по-видимому, вызвала горячую отповедь Бориса Николаевича Чичерина, о чем можно судить по письму к нему С. Н. (См. прилож. 23).

Летом в Меньшове С. Н. плохо поправлялся, и это заставило кн. Прасковью Владимировну просить Евгения Николаевича приехать навестить брата:

«Я хотела бы, — писала она ему, — чтобы ты ловким образом приманил Сережу к доктору Остроумову, который теперь в Москве. Я очень недовольна им: он стал кашлять и довольно порядочно, и что бы я ему ни давала, — ничего не помогает. Он до того худ, что этот кашель, действительно, может беспокоить, особенно после его крупозного воспаления в легком. Говорят, что обыкновенно после воспаления толстеют — так и случилось со мной и с Котей, а Сережа только худеет… Настроение самое приниженное, и мне кажется, что твое присутствие его подбодрит и будет нам всем приятно».

Вместе с тем приближалось время отбытия с экскурсией в Грецию; отъезд был назначен на 29 июля. От утомления и плохого самочувствия С. Н. нервничал перед отъездом и страшно неохотно собирался. Тревожно было его отпускать на новое утомление, и Прасковья Владимировна настояла на том, чтобы он взял с собой преданного ему слугу Ивана.

II

Экскурсия двинулась из Москвы в составе 118 чел., причем в пути следования к ней присоединились еще 21 чел. Из профессоров ехали: Н. В. Давыдов, Л. М. Лопатин и И. Ф. Огнев; в Одессе присоединились еще профессор Мальмберг из Дерпта и приват-доцент по византийской истории свящ. Н. Г. Попов. Хозяйственной стороной дела заведывал особый студенческий комитет из 16 старост представителей 16 групп, на которые разбились участники поездки (Из Константинополя экскурсию сопровождал секретарь местного археологического института Р. Х. Лепер, а в Афинах ее встретил проф. Никитский, который с весны подготовлял в Греции почву для экскурсии. Кроме того, в состав экскурсантов вошли 4 врача и 2 служителя, из коих один педель Московского университета, взятый для заведования счетоводством, паспортной и хозяйственной частью.

Собрание старост составляло хозяйственный комитет под председательством казначея общества Н. А. Генике, ближайшим помощником которого был педель Сарычев. На обязанности комитета и главным образом его председателя лежали общие хозяйственные распоряжения о продовольствии и размещении экскурсантов.).

По дороге из Москвы до Одессы обедали на больших узловых станциях (Курск, Жмеринка), заказывая обед по телеграфу.

В письмах С. Н. к жене кн. П. В. Трубецкой С. Н. ярко описывает свои впечатления от экскурсии. (См. прилож. 24).

На обратном пути, в Одессе С. Н., сдав экскурсию на попечение Н. В. Давыдова, отправился в Казацкое (Херсонск. губ.), имение брата Петра Николаевича, и вернулся домой в Меньшово лишь 5-го сентября. Он еще похудел, вследствие перенесенной в пути болезни, но отдохнул, как говорил, душой и телом и был в приподнятом настроении от удачи поездки. «Поведение студентов было выше всяких похвал, — писал он брату Евгению Николаевичу, — и, кроме самых приятных впечатлений, я ничего с ними не испытал: всё время можно было гордиться ими перед греками, немцами, русскими».

Кроме официального отчета, представленного им об экскурсии в Совет Московского Университета и публичной лекции, прочтенной им об экскурсии в Политехническом музее, С. Н. набросал еще небольшую статью, которую имел в виду поместить в каком-нибудь журнале, но отказался от этого, потому что, как он говорил, «я подкуплен греческим правительством». Последнее в конце концов было так любезно и предупредительно по отношению к экскурсантам и к нему лично, что ему неудобно было откровенно высказывать свои впечатления о современной Греции. (См. прилож. 25). Он решился на это лишь в тесном кругу

университетских товарищей, что, к сожалению, не помешало огласке его доклада и уже в Дрездене он получил в один и тот же день письмо от г. Ралли, в котором он его поздравлял кавалером ордена греческого Сотира, и номер греческой газеты, где были приведены крупным шрифтом обидные для греков места из его речи о скандалах и политическом ничтожестве греков… Бестактность эта привела С. Н. в большое смущение и вызвала крайнее его негодование.

С 5 сентября по 11 октября (1903 г.) С. Н. занят был устройством своих дел и устройством дел студенческого Общества, так как он сам чувствовал, что слишком утомлен и не в силах продолжать свою деятельность, не отдохнувши и не поправившись, как следует, почему и решил до весны уехать заграницу. В студенческом Обществе предстояло избрать двух профессоров в звании товарищей председателя и новый состав бюро.

Собрание состоялось 9 октября, причем уже при входе в зал собрания внимание всех было привлечено лежавшими на каждой скамейке белыми листками, так что еще до появления С. Н. все студенты ознакомились с прокламацией, направленной против него. Когда явился С. Н., он спокойно прочел эту бумажку и, открыв заседание, обратился к студентам с речью, чтобы перед своим отъездом высказать им свои пожелания и свой взгляд на современное положение общества. (См. прилож. 26).

По словам А. И. Анисимова, С. Н. говорил вначале сдержанно и спокойно, но чем более отдавался течению волновавших его мыслей, тем увлекался все более и более. Когда, совершенно потрясенный сам, он произнес последние слова, толпа, переполнявшая залу, одно мгновенье молчала, застыв и окаменев в каком-то внутреннем переживании. Потом вдруг очнулась, и неистовые бурные овации потрясли всю аудиторию. И если те, кто написал разбросанную в зале прокламацию, присутствовали тут, они, наверно почувствовали себя не легко. (См. прилож. 27)

III

По прибытии в Дрезден, узнав о появившемся на страницах «Освобождения» сообщении о заседании 9 октября, С. Н. писал А. И. Анисимову:

«Прочел напечатанный без моего ведома стенографический отчет — текст моей последней речи в Обществе. Что за безобразие! Как можно это делать! Мы решили вообще ничего не печатать в газетах: а тут наши уважаемые сочлены уподобляются

унтер-офицерской вдове и пишут форменный донос на себя самих. После этого все может прахом пойти! Младенцы вы, господа, и каши с вами не сваришь! Каждый день благословляю Бога, что я тут. Опять прошу: сообщите московские новости».

Новости, увы! были нерадостные, и противники Общества старались всеми силами довести дело до закрытия Общества. (См. прилож. 28 и 29).

И чем дальше, тем известия из Москвы были тревожнее. 31 января между студентами, собравшимися на лекцию Ключевского, произошло ожесточенное столкновение на почве разногласия их по отношению к значению Японской войны, в университете вспыхнули беспорядки, и нормальная жизнь в нем была прервана. (См. прилож. 30).

Японская война, обрушившаяся на всех с такой неожиданностью, воспринята была С. Н. с болезненной тревогой. Уже 14 декабря его жена кн. Прасковья Владимировна писала мне:

«Сережа страшно удручен газетными толками об Японской войне, настолько удручен, что ночи его становятся плохи. Он способен под влиянием этого удручения написать что-нибудь веское, но совсем непечатное. Пока спасает его другая работа… Он живет исключительно для науки: посещает от 10 до 1 часа здешнюю чудную библиотеку, там работает, потом работает дома до 11 ч. вечера, появляясь между нами только к столу и чаям». (См. прилож. 31).

Весною 1904 г., в связи с успешным ходом мобилизации, удрученное состояние С. Н. сменилось некоторым оптимизмом, к сожаленью, не оправданным событиями (См. прилож. 32). Но всё, что сообщалось ему из Москвы не могло не будить в нем тревоги. Проф. В. И. Вернадский писал С. Н. по поводу происходящего:

«События идут быстро и иногда кажется, точно направляются невидимой рукой, тем Fatum'ом, который давно зародился в сознании человечества… Самодержавная бюрократия не является носительницей интересов русского государства; страна истощена плохим ведением дел. В обществе издавна подавляются гражданские чувства: русские граждане, взрослые мыслящие мужи, способные к государственному строительству, отбиты от русской жизни: полная интеллектуальной, оригинальной жизни русская образованная интеллигенция живет в стране в качестве иностранцев, ибо только этим путем она достигает некоторого спокойствия и получает право на существование. Но в такие моменты отсутствие привычки к гражданскому чувству сказывается особенно тяжело. Наконец, в стране изменнической

деятельностью полиции истираются сотни и тысячи людей, среди которых гибнут бесцельно и бесплодно личности, которые должны были бы явиться оплотом страны, и которые вновь не могут народиться или не могут быть заменены…

И так уже десятки лет и кругом с каждым днем подымается все большая ненависть, сдерживаемая лишь грубой полицейской силой, с каждым днем теряющей последнее уважение. При таких обстоятельствах сможем ли мы сдержать легкомысленной и невежественной политикой правительства тронутый Восток? Или мы стоим перед тем крахом, в котором будут сломлены живые силы нашего народа, как гибли не раз в истории человечества сильные и мощные общественные и народные организации… Так же, как и Вы, я от всей души, всеми фибрами моего существа желаю победы русскому государству и для этого готов сделать все, что могу…

Я физически не в состоянии радоваться русским поражениям. Движение в русском обществе, явно или еще чаще скрыто смотревшее с надеждой на поражение русского войска, видевшее в нем спасение от внутренних врагов государства — Плеве и Ко. — несомненно есть и сильно. Много приходилось говорить об этом, но, в конце концов, мне кажется взяла верх бессознательная органическая сила русского общества и в обмене мнений явно начинают преобладать рассуждения и возражения лиц, которые не дают себя обманывать ролью, какую сыграл Севастополь в подъеме русской жизни. Ведь это совсем несравнимые явления. Настроение здесь тяжелое, так как война только начинает накладывать свою печать на жизнь, и кругом усиливается реакция.

Масса обысков, арестов, грубых и диких нарушений самых элементарных условий человеческого существования. Говорят, Плеве желает воспользоваться вниманием общества, направленным к войне, для того чтобы искоренить крамолу. Мне это представляется абсолютно непонятным: я думаю, можно до известной степени устранить ее проявления, но ясно, как растет кругом дезорганизованное и дезорганизирующее настроение. Оно гораздо страшнее для Плеве и Ко. того, что они хотят уничтожить. Теперь у них идет работа по уничтожению Земств (См. Д. Н. Шипов. „Воспоминания и Думы о пережитом“ стр. 226. Неутверждение Д. Н. Шипова председателем Моск. Земск. Управы толкнуло многих из среды умеренных на путь политической борьбы.).

То, что особенно тяжело — это сведения о полной дезорганизации правительственных сил: деятельность Красного Креста и слухи о нем на каждом шагу комментируются и

описываются невероятные вещи, и все им верят, и нельзя не верить. То же самое во всем.

Довольно об этом. В университете у нас прошло все спокойно. Я не понимаю, о какой антипатриотической манифестации студентов Вы пишете. Были отдельные реакции на попытки организовать полицейские демонстрации, но ни в чем крупном они не проявились. Какая-то группа в 20–25 человек (в том числе не все студенты) подала телеграмму Микадо: они, говорят, арестованы. На одной из лекций человек 200–300 студентов протестовали против сбора на Красный Крест (начатый одним из „белоподкладочников“) и прошлись по Никитской с пением „Марсельезы“, но это было в разгар полицейских „народных“ манифестаций, в которых участвовали студенты, главным образом, Катковского лицея. Но разве это какое-нибудь „событие“ в жизни университета? А рядом с этим много студентов идут в санитары, и насколько я могу понять, настроение серьезное, как и настроение общества. Много недоумения, но оно кругом…».

IV

В феврале 1904 г. С. Н. написал статью «На рубеже», посвященную памяти только что скончавшегося в Москве Бориса Николаевича Чичерина. Представляя исчерпывающий очерк современного состояния Русского государства, С. Н. в качестве убежденного сторонника могущественной царской власти в России, видит один выход из создавшегося положения — «уничтожение самовластия администрации и подчинение ее правопорядку и законной ответственности». Коренная политическая реформа необходима для спасения самого Престола…

«В течение четверти века нас стремились убедить в том, что самодержавие несовместимо с земским самоуправлением, с свободой совести, со всесословным гражданским порядком, с независимостью и гласностью суда, с автономией университетов. Это доказывали единодушно не только противники самодержавия, но еще более его призванные охранители. И это было доказано бесспорно и неопровержимо не рассуждениями, не памфлетами или министерскими записками и официальными документами, а самыми фактами, самой логикой вещей и ходом событий, законодательными актами, всем развитием русской жизни.

Сильная власть в таком громадном государстве, как Россия,

является необходимым условием правильного неукоснительного действия государственного механизма. Самодержавное правление принимали за сильное правительство, и вот, оно не в силах подавить непрерывно возрастающую смуту; самодержавие принимали за верное ручательство единства в целости внутреннего мира в России и, однако, существование осадного положения, без которого в настоящее время нельзя управлять Россией, показывает, кем держится этот внутренний мир.

Опасное положение в Польше, брожение в Финляндии, брожение в Закавказье, революционное движение среди евреев по всей Империи, оппозиционное настроение среди земств, систематически возмущаемых правительственными мероприятиями, революционное движение среди всех высших учебных заведений Империи, хронические студенческие беспорядки, наконец, аграрное движение среди хаотической крестьянской массы — такова картина под сенью русского самодержавия…».

Доказывая несостоятельность паллиативных мер для спасения России, С. Н. пишет в заключительной главе:

«Мы не порываем связей с историческим прошлым России. Мы не отрекаемся от основ ее государственного величия, а хотим их укрепить и сделать незыблемыми. Мы не поднимаем руки против церкви, когда хотим освобождения ее от кустодии фарисеев, запечатавших в гробу живое слово. И мы не посягаем против Престола, когда хотим, чтобы он держался не общим бесправием и самовластием опричников, а правовым порядком и любовию подданных. Тот самый патриотизм, тот могучий государственный инстинкт, который собирал Россию вокруг Престола московских государей, образовал ее в самую крепкую и обширную державу в мире, должен теперь получить свое историческое оправдание: не на гибель себе, не на закрепощение России вознес он так высоко Престол царский и заложил так прочно его основание. Теперь сама царская власть должна довершить строительство земли, дав ей свободу и право, без которых нет ни силы, ни порядка, ни просвещения, ни мира внутреннего и внешнего. И этим она не ослабит, а бесконечно усилит себя, восстановив себя в своем истинном значении царской, а не полицейской власти, и сделавшись залогом свободы, права и мирного преуспеяния».

Ограничиваясь приведенными выдержками из статьи С. Н. «На рубеже», мы отсылаем к ней читателя, желающего получить исчерпывающую характеристику и картину тогдашнего состояния общества и положения государства. Чувствуется, что каждая строка здесь выстрадана и пережита, и изо всех

публицистических статей С. Н. ни одна, быть может, не производит такого сильного впечатления. Она является как бы политическим «credo» С. Н. накануне его возвращения в Россию. В ней ясно сказывается, что революционеры, как справа, так и слева, глубоко были противны его духу и убеждениям. «Он всей душой верил в возможность мирного исхода, и сила его была в том, что его горячее искреннее слово и в других умело зажигать ту же веру. Верили в то, что он найдет и скажет такие слова, которые убедят, перед которыми смирится и всемогущая власть и бушующая народная стихия. Это была иллюзия, скажут нам. Может быть. Но ведь иллюзией часто называется не только то, что никак не могло сбыться, но так же и то, что просто не сбылось, и что на самом деле было близко и возможно…

Пусть это была иллюзия, но отчего же после его смерти все почувствовали, что в русской жизни что-то оборвалось и ушло безвозвратно, что какая-то лучшая возможность стала немыслимой, что у сторонников „мира“ вырвано знамя из рук» (П. Н. Новгородцев. «Памяти Кн. С. Н. Трубецкого». Вопросы филос. и псих. 1906 г. № 1 (81).).

Часть II (1904–1905)

«Пусть это была иллюзия, но летописец
наших дней должен написать на страницах
истории, что во время русской революции с
именем Сергея Трубецкого связана была вера
русского народа в превозмогающую силу правды и
возможность общего примирения»…
П. Новгородцев «Памяти кн. С. Н. Трубецкого» («Вопросы философии и психологии», 1906 г.)

Проведя зиму с 1903–1904 г. в Дрездене, Сергей Николаевич с семьей вернулся в Москву в конце апреля. Остановился он на моей квартире (в Б. Афанасьевском пер.), где вскоре оказалась свободная квартира по той же лестнице, против моей. Она подошла под требованья семьи брата: ему и его жене, Прасковье Владимировне, нравилось расположение дома, двухэтажного особняка, в тихом переулке, во дворе, с небольшим круглым палисадником перед подъездом. Брат нанял эту квартиру, перенеся свой кабинет и общую столовую на мою половину, которая для меня одной была слишком просторна. Таким образом, мы вновь соединились под одной кровлей, и этот последний год жизни брата мне близко довелось переживать вместе с ним.

Это обстоятельство поневоле отражается на характере изложения событий. Кроме личных воспоминаний, у меня сохранилась «записная книжка», куда я с ноября 1904 г. заносила все злободневные происшествия, из которых сплетались события того времени.

Надо сказать, что семья наша в то время была в исключительно выгодном положении в отношении информации по текущим общественным и политическим вопросам. Брат Петр Николаевич Трубецкой был Московским губернским предводителем дворянства, Григорий Иванович Кристи, женатый на моей сестре (Марии Николаевне), был Московским Губернатором, Федор Дмитриевич Трепов (Московский обер-

полицеймейстер, а потом Генерал-губернатор Петербурга) только что породнился с нашей семьей, выдав свою дочь за моего племянника П. В. Глебова. Двоюродный брат А. А. Лопухин был директором Департамента полиции, наконец, Кн. Алексей Дмитриевич Оболенский (впоследствии обер-прокурор Синода), двоюродный брат моей матери, питал исключительное чувство дружбы к брату Сергею, высоко ценил его и держал его в курсе всех Петербургских настроений.

Таким образом, не выходя из круга семьи, я была более или менее в курсе всего происходившего вокруг и, к сожалению, только не всегда успевала записывать всё, что слышала и поздно принялась за это дело.

Не задаваясь какими-либо литературными целями, я вела свою запись в надежде, что она, быть может, со временем пригодится брату для его воспоминаний, а мне для летописи семьи, для которой я уже в то время подбирала материал… Записки мои поэтому носят несколько семейный, домашний характер.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

(1904–1905 г.)

По окончании университетских экзаменов, участие в которых пришлось принять вследствие внезапного заболевания Л. М. Лопатина, Сергей Николаевич с семьей переехал на лето в наше общее семейное гнездо «Меньшово» (в Подольском уезде, Московской губ.), откуда он писал брату Евгению в его Калужскую деревню:

«Какой огромный внутренний переворот у нас на глазах созревает. Многое хотелось бы рассказать тебе, но целый том надо написать и о личных и о публичных делах. Видел третьего дня А. Оболенского, который по-прежнему не унывает, и предлагает мне самым настоятельным образом место А. Столыпина (А. А. Столыпин, брат П. А. Столыпина — журналист, редактировал „С. Петербургские Ведомости“, но был отстранен по требованию Плеве.), с содержанием 12.000 по контракту. Последствия сего предложения пока отрицательные. Как ни хотел бы я получать возможность говорить с российскими гражданами при посредстве моего собственного органа, но, к сожаленью, не вижу возможности говорить с ними о чем-либо ином, как о пользе стекла, между тем как минутами самое битье стекол представляется менее предосудительным, нежели подобное празднословье».

А. И. Анисимов в своих воспоминаниях («Вопросы Философии и Психологии», 1906 г.) передает, что летом 1904 г., встретив С. Н. в университетской библиотеке, имел с ним беседу по университетскому вопросу. С. Н. говорил, что страшно колеблется, не зная, оставаться ли ему дальше в университете:

«Нет сил бороться с несовершенством академического строя: студенчество в лице своих крайних партий стремится к явному разрушению существующего порядка вещей, правительство не поддерживает прогрессивных сил, работающих планомерно и творчески над истинным обновлением университетов».

А. И. Анисимов отмечает крайне подавленное состояние С. Н. при этой беседе. Да оно и не могло быть иначе, как только мысль его обращалась на настоящее положение России. Но в Меньшове и в кругу семьи он все-таки отдыхал. Общество вокруг было многолюдное и всё свои — братья и сестры и их многочисленная и столь дружная между собою детвора. Своим оживлением и жизнерадостностью она заражала и взрослых. Сама природа Меньшова как бы способствовала такому настроению. Зеленый скат луга от дома к речке под горой, с раскинутыми по нем

тремя-четырьмя гигантскими вековыми елями, за речкой — широкий заливной луг и светлый горизонт крестьянских полей, подымавшихся в гору пестрым ковром разнообразных хлебных злаков, синеющие вдали леса, здесь и там на горизонте с вкрапленными в них усадьбами и деревушками. Тучи, висевшие над Россией, словно разрежались в этой светлой, мирной, столь родной природе.

События, однако, шли своим чередом. 15 июля пал Плеве от руки террориста Сазонова. Гнет режима Плеве такой тяжестью лежал на всех и до того тревожил общественное сознание опасностью принятого им курса, что весть о его убийстве принята была многими не только со вздохом облегчения, но и с нескрываемой радостью, которая претила нравственному чувству. В обществе носились слухи о новых предначертаниях полновластного министра, которые должны были еще круче повернуть реакционное направление. Даже кн. Мещерский в своем «Гражданине» выступил с осуждением политики покойного министра.

Выступление его взорвало С. Н., который ответил на него статьей: «И ты Брут!..».

«Не апостолам реакции, — писал он, — обвинять несчастного министра, который попробовал осуществить на деле малую часть того, о чем они мечтали, и что является необходимым следствием общего направления. Верно, что старый Петербургский тракт подходит к концу и упирается в непроходимую топь. Но для того, чтобы свернуть с этого старого тракта, надо ясно сознать, какой другой путь открывается, кроме испытанного и изведанного пути антиправового порядка.

Этот другой путь состоит в том, чтобы не на словах только, а реально приблизить народ к Престолу и освободить и народ и Престол от пут всевластной, фактически безответственной бюрократии, узурпирующей державные права».

Во второй половине августа на пост Министра Внутренних Дел был назначен кн. П. Д. Святополк-Мирский. Программная речь, с которой он вступил в должность, говорившая об искреннем, благожелательном и истинно доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще, радостно приветствовалась всеми. С назначением Мирского в Земской среде оживились надежды на возможность созвания съезда из представителей губернских управ и земских деятелей, и бюро земских съездов собралось в Москве 8-го сентября для обсуждения создавшегося положения. Программа съезда, выработанная им до речи Кн. Мирского, не затрагивала политического вопроса, но после обнародования этой речи

организационное бюро сочло возможным и даже необходимым поставить вопрос об общих условиях, не благоприятствующих правильному развитию нашей земской — государственной жизни и желательных в них изменениях.

Тем временем кн. Мирский, не зная ничего о внесении политического вопроса в его программу, заручился разрешением Государя на официальное открытие съезда.

Вызванный в Петербург Д. Н. Шипов должен был разъяснить кн. Святополк-Мирскому его невольную ошибку, которая ставила его в крайне затруднительное положение. Приглашения на съезд 6-го ноября были уже разосланы по всей России; отсрочить съезд было невозможно, а земцы ни за что не соглашались снять с обсуждения самый главный для них вопрос.

В результате переговоров Мирский заявил депутации от организационного бюро, что официального разрешения на съезд с намеченной программой не может быть дано, но он тут же дал разрешение на частное совещание в Петербурге.

В Москве с напряженным вниманием следили за перипетиями переговоров с Мирским и радовались, что, как никак, съезд все-таки состоится. Настроение было необыкновенно приподнятое. Как раз с этого времени я завела записную книжку, записями которой и буду пользоваться.

Из Записной книжки — ноябрь 1904 г.:

«Сколько пережито за этот год, сколько переживается каждый день надежд, страхов, мучений. Какая странная смесь уныния по поводу неуспешной войны, удручающего сознания безумной борьбы, которой конца края не видно, и надежды на внутреннее обновление… столь сильной и светлой надежды, что дышится легче. Гроза еще в полном разгаре, опустошения вокруг дают себя чувствовать с каждым моментом острее, а атмосфера яснее, самочувствие бодрее.

Статья брата Евгения в № 39 „Права“, „Война и бюрократия“ имела совершенно исключительный успех. Не только со всех сторон сыпались ему приветствия и благодарности за нее, но учреждались стипендии его имени в университете и других высших учебных заведениях. Она блестяще открыла эру нового направления внутренней политики. „Эру попустительства“, как ее называет здешний Трепов; „эру доверия к общественным силам“, как называют ее земцы. Метаморфоза столь неожиданная, что все словно растерялись и в глубине души мало кто верит в ее прочность… Каждый день слухи о падении Мирского и в преемники ему прочат фон Валя, Клейгельса или Штюрмера, заранее уже отпетых или отпеваемых»…

Боясь, чтоб брат Евгений не увлекся слишком своим успехом,

С. Н. писал ему:

«Никогда еще не было так трудно писать, как теперь, и никогда еще это не было в такой мере делом ответственным…

Я имею дерзкую и смелую мысль основать в Москве еженедельную политическую газету с целью кристаллизации сил. Мне дают неограниченные средства, и сотрудники есть, хотя выбор сотрудников труднее, чем выбор и получение средств. Нужен и твой авторитет, не меняй его на мелочи.

Помимо отдельных статей, возьми на себя разработку какого-либо конкретного вопроса. Нужна созидательная работа. Если мы основываем газету, то не для того, чтобы приятно щекотать либеральные пятки… При случае будем говорить со всей силою и весом… но „свистопляски“ „Нашей Жизни“ ни к чему. Мало плевать на прошлое, надо думать о реальной программе ближайшего наступающего будущего, об образовании „правительственной партии будущего“, которая нужна для поддержания порядка и для осмысленных реформ. Нужна организация или кристаллизация сил».

Несколько дней спустя он вновь писал брату Евгению:

«Вчера Соболевский (Редактор „Русских Ведомостей“.) вызывал меня, чтобы посоветоваться о твоей статье. Последние фразы он не решается поместить, трусы они большущие; неделю назад, говорит, „поместил бы без колебания, а теперь свобода печати вся вышла“. У меня в „Праве“ почеркали многое. Съезд отменен, и начинается реакция… Я не взял на себя разрешить вычеркнуть заключительные фразы, потому что в них только и есть, по-моему, вся суть.

У нас все пока, слава Богу, благополучно и спокойно. На счет твоего проекта о профессорском съезде, о котором говорил Северцев, едва ли это своевременно. Во-первых, его министерство, очевидно, не разрешит, во-вторых, у нас едва ли сию минуту кто-нибудь станет хлопотать о его разрешении. Все общественные интересы поглощены другим. Я говорю: сию минуту потому, что время стало как-то особенно быстротечно, и предсказывать перемены настроения могут только метеорологи, подобные Демчинскому».

Из Записной книжки: 21 ноября 1904 г.:

«Вел. кн. Сергей Александрович уехал в Петербург к 14-ому (14-го ноября — день рождения Императрицы Марии Феодоровны.). Ехал с намерением попугать своей отставкой и отставкой своей Московской администрации, но по слухам, подтверждающимся грустной физиономией г. Кристи, потерпел неудачу… Однако, „Право“ получило предостережение. Розничная продажа „Нашей Жизни“ и „Сыны Отечества“ с первого

августа запрещена. Про „Нашу Жизнь“ Петрункевич сказал брату Сереже: Начала фальцетом и сразу оборвалась…»

На Сережу Петрункевич производит впечатление серьезного и солидного человека, образованного, умного, не революционера, умеренного конституционалиста. Однако, на съезде в Петербурге он разошелся с Д. Н. Шиповым, который остался с меньшинством в умеренных.

Вчера у брата Сережи был Д. Н. Шипов и Р. А. Писарев. Последний рассказывал про съезд, что Шипов своей речью в славянофильском стиле чуть не погубил все дело. Положение спас Н. Н. Львов блестящей речью, которой остановил раздражение возражавших Шипову и остановил от увлечения ходатайствовать об Учредительном Собрании. Он указал, что Учредительное Собрание учреждается, когда Правительства уже больше нет, и власть его упразднена. Уместно ли сейчас говорить об этом?..

11 Пункт «заключения» редактирован Петрункевичем.

По окончании совещания земских деятелей положения, к которым они пришли, были представлены кн. Святополк-Мирскому, чтоб он довел об них до сведения Государя. В свою очередь Мирский просил, чтобы участники совещания составили для него записку с изложением тех мотивов, которыми они руководствовались при составлении своих «Заключений». На совещании, собранном по этому поводу, единодушное желание всех присутствовавших было, чтоб этот труд взял на себя брат Сергей Николаевич,

Из Записной книжки:

«Сегодня Сережа кончил свою записку, которую писал два дня по просьбе Шипова и К. В записке говорится об опасности дать свободу слова, свободу собрания и другие свободы, пока общество не организовано и не призвано к активной защите Престола… Далее в „Записке“ высказывается надежда, что Престол окажется на высоте своего призвания и вступит на спасительный путь реформ: „Но все эти реформы предполагают политическую свободу, правовой строй государственной жизни и правильно организованное народное представительство“.

Сегодня вечером Сережа читает эту записку на собрании у Шилова и затем ее направят в Петербург к Мирскому.

24 ноября. „Записка“ вчера имела полный успех. Особенно довольны Шипов и Петрункевич (Принятые совещанием земских деятелей, положения были изложены в 11 пунктах, при чем последний, одиннадцатый, выражал надежду, что „Верховная власть призовет свободно избранных представителей народа, дабы при содействии их вывести наше отечество на новый путь

государственного развития в духе установления начал права и взаимодействия государственной власти и народа“.).

29 ноября 1904 г. Вчера на Знаменке после обеда брат Петр Николаевич читал „Записку“ и адрес, проектированный на съезде губернских предводителей. Адрес, подписанный семью предводителями, выражал верноподданнические чувства, преданность самодержавию и уверенность, что при условии доверия к обществу, (а, главное, к дворянству) — все пойдет прекрасно — этому не дано хода.

В „Записке“, подписанной 11 предводителями, пространно описывается смута, царящая в России, и брожение недовольных масс. Причина тому в произволе администрации, бюрократическом составлении законов, беззаконном действии министров, искажающих своими инструкциями настоящий закон, произвол полиции, которая плодит лишь недовольных и т. д. Устранить все настоящие беды можно, проведя в жизнь принципы, высказанные в Манифесте 26 февраля, учреждением контроля и ответственности администрации, допущением участия общества в законодательных работах, составлением при Государственном Совете особого отдела для ведения Земских дел при участии в нем Земских представителей, дабы голос народа свободно восходил до Царя. Соблюдая эти условия, правительство сохранит верность заветам истории и принципам самодержавия…

Не понимают эти люди одного, что самодержавие в том виде, как оно сложилось у нас, есть произвол, возведенный в закон. Принципом этим пропитан не только сам царь-самодержец, но из главного источника питаются все происходящие ключи, начиная с министра и кончая последним урядником и становым. Если даже царь восчувствует и отречется от произвола, как государственный механизм насытить новым понятием, когда все колеса вертелись только при старом?..

30 ноября в Московскую Городскую думу было подано заявление за подписью 70 чел. гласных, на основании которого было выработано следующее постановление, принятое единогласно (Постановление это было опротестовано губернатором, как выходящее за пределы компетенции Думы, и Кн. В. М. Голицын был привлечен к ответу за допущение его обсуждения.):

„Представить высшему правительству, что по мнению Московской Городской думы неотложно необходимо: 1) установить ограждение от внесудебного усмотрения, 2) отменить действие исключительных законов, 3) обеспечить свободу совести и вероисповедания, свободу слова, печати, свободу собраний и союзов, 4) провести вышеуказанные начала в жизнь, на

обеспечивающих их неизменность незыблемых основах, выработанных при участии свободно избранных представителей населения, 5) установить правильное взаимодействие правительственной деятельности, с постоянным, на законе основанном контролем общественных сил над законностью действий администрации“».

Из Записной книжки — 8 декабря:

«Вследствие постановления Московской Городской Думы — скверная история в университете. Выслушав заявление гласных в предварительном чтении, Герье встал и заявил, что не получил полномочия избирателей на подписание такого заявления, и так как В. М. Голицын предложил несогласным выйти — он ушел. Студенты за это сделали ему скандал в университете: окружили, заставили выслушать обвинительный акт и свистали, не давая возможности уйти. Когда бедный старик вышел наконец из аудитории, серо-земляного цвета, он произнес только: „Вот вам и свобода!..“

Но студентам мало этого: они собирают подписи под петицией Герье, где, кроме вины за его поведение в Думе, ставят ему на счет все личные обиды, и требуют удаления из университета. Как Сережа ни убеждал, ни уговаривал — они слушать не хотят, личное чувство говорит сильнее.

Вечером состоялось заседание профессоров у проф. Фохта. Решили, что, если студенты подадут свою петицию, профессора представят свою контрпетицию с просьбой к Герье остаться. Студенты невменяемы после беспорядков 5-го и 6-го декабря. По прокламациям, разбросанным в эти дни и предшествующие, население призывалось к демонстрации. В воскресенье, на Знаменке, у брата Петра Николаевича, Гр. Кристи рассказывал, что, когда студенты хотели проникнуть на площадь (перед генерал-губернаторским домом), человек 150 полицейских преградили им дорогу, студенты выхватили револьверы, и два полицейских упали раненые. Тогда другие полицейские обнажили шашки, причем 2 студента сильно пострадали, а другие более или менее легко.

В правительственном сообщении говорится не о тяжело раненых, а об легко пострадавших. Вместе с тем в городе ходят невероятные рассказы об „избиениях“. 60 профессоров послали кн. Мирскому телеграмму с просьбой прекратить кровопролитие на улицах Москвы. К брату Сереже прибегали за подписью, он в ней отказал, говоря, что не может, зная дело, подписаться под такой телеграммой и находит, что полиции ничего не оставалось делать, как драться, когда в нее стреляли». (См. прилож. 33).

Из Записной книжки — 8 декабря:

— «Сегодня брат Петя вернулся из Петербурга gros de nouvelles. В воскресение он оттуда телефонировал на Знаменку, что 6-го будет реакционный адрес и даже г. Кристи возмутился: „В какое положение нас (администрацию) ставят…“

Теперь брат Петя рассказывает: 1) О Манифесте не было и речи. 2) Государь созвал особое совещание из Вел. князей Владимира, Сергея, Алексея и Михаила, из министров (всех, кроме Глазова и военного) и некоторых выдающихся членов Государственного Совета. Пете назначен был прием в Царском, в 2 часа дня. Когда он подъехал, то увидел массу карет и спросил у Гайдена: „Что это у вас творится?“

„Решаются судьбы России“, — последовал ответ. На обратном пути в Петербург Петя попал в купе к Муравьеву. Не рассказывая сущности дела, Муравьев сказал, что они заседали три дня и теперь кончили и подписали. В субботу выйдет Правительственное сообщение и указ Сенату. В сообщении будет целый ряд строгостей против демонстраций и манифестаций. В указе — что-то такое, что должно удовлетворить всех благомыслящих и серьезных людей в России (разумеется, не революционеров).

Прочитав все поданные ему за это время Записки, Государь пришел к заключению, что многие требования общества вполне основательны, и он хочет дать на них сейчас же ответ. По мнению Муравьева, ответ превосходный. Совещание произвело на него удивительное впечатление. „Кажется, я за 20 лет привык, — говорил он. — Государь председательствовал выше всякой похвалы. Вел. князья держались „джентльменами“… Были сделаны друг другу уступки… (??) — и вот Вы увидите!“

По приезде в Петербург Петя отправился к Витте:

— Ну, а Ваше мнение какое?

Витте пустил воздух сквозь зубы и сказал:

— В прошлом году цена была бы миллион, а теперь — рубль!

Про беседу свою с государем Петя рассказывает следующее: „Государь читал записку предводителей, но желал иметь дополнительные сведения о том, что в ней сказано“.

Петя сказал, что первый вопрос был о конституции, но что все они думают, что в данную минуту „то, что называется конституцией“, не применимо для России и вовсе нежелательно. Что они за „самодержавие“; но, должно сознаться, „самодержавия“ у нас нет… Между царем и народом выросла стена „бюрократия“, и голос народа не доходит до царя. Законы составляются так, что оказываются совершенно неприменимыми к жизни и т. д., стал своими словами рассказывать „Записку“. (В вопросе о „конституции“ братья между собой расходились. Сергей

Николаевич считал единственным выходом из создавшегося положения организованное постоянное единение Верховной власти с народом, единение, которое при настоящих условиях могло быть осуществлено лишь при посредстве свободно избранных представителей земли. А брату Петру Николаевичу конституция представлялась, как умаление и упразднение Царской власти, а не укрепление ее.).

Государь ответил, что вопрос о конституции он ставил себе не раз, „душою переболел над ним“ и пришел к такому заключению:

„Не для меня, конечно, не для меня — для России, я признал, что конституция привела бы сейчас страну в такое положение, как Австрию. При малой культурности народа, наших окраинах, еврейском вопросе и т. д. Одно самодержавие может спасти Россию. Притом мужик конституции не поймет, а поймет только одно, что царю связали руки, а тогда — „Я вас поздравляю, господа!..““

Последнюю фразу Петя произнес, глядя на брата Сережу с крайней выразительностью, так что слегка даже вспыхнул, и мне подумалось: „Не прибавил ли он это „поздравление“ от себя?“ (Хотя передавал он всегда с деловой точностью слышанное). Далее брат Петя рассказывал, что Государь выразил ему свое возмущение по поводу телеграммы Черниговского земства (6-го декабря Черниговское губ. земское собрание представило Государю ходатайство по целому ряду вопросов общегосударственного значения. Государь собственноручно начертал на телеграмме: „Нахожу поступок Черниговского земского собрания дерзким и бестактным. Заниматься вопросами государственного управления не дело земских собраний, круг деятельности которых ясно очертан законами“.).

На это Петя заметил, что Государь не должен тому удивляться, ибо в обществе за последнее время весьма и весьма было распространено убеждение, что Государь желает конституции, но вел. князья и Императрица Мария Феодоровна ее не желают, и что он, лично, знает многих предводителей, которые подписали адрес в полной уверенности, что исполняют высочайшую волю и желание.

Государь на это ответил, что он на-днях определенно выскажет свой взгляд на положение дела и вместе с тем даст удовлетворение тем общественным требованиям, которые считает справедливыми».

Из Записной книжки — 10 декабря:

«Мало-помалу в мирное и тихое русло прежних общественных и семейных отношений начинают просачиваться отголоски

партийной розни. Грустно и иногда очень тяжко. Даже между детьми ссоры и споры, доходящие до драки — за или против самодержавия.

Вследствие конституционных выступлений Думы Ф. Д. Самарин сложил с себя звание попечителя Городской школы и послал мотивированный отказ в Думу. Его примеру последовала его сестра С. Д., а за ней потянулись и ее приятельницы. — С. Тютчева, Е. Коновницына и Е. П. Ермолова».

14 декабря.

— «Сегодня утром наконец вышел „Указ Сенату“ (В Указе признавалось необходимым провести ряд назревших преобразований и в первую голову озаботиться наилучшим устройством быта крестьян, обеспечив за ними „положение полноправных свободных сельских обывателей“. За сим признавалось неотложным: принять меры к охране полной силы законов; обеспечить необходимую самостоятельность судебных установлений; ввести государственное страхование фабрично-рабочих; пересмотреть законы об усиленной охране; пересмотреть узаконения в правах раскольников и лиц инославных и иноверных исповеданий; пересмотреть положение об инородцах и уроженцах отдельных местностей Империи; устранить излишние стеснения печати.) Всего можно было ожидать только не того, что Юльевич будет пожалован в Кесари.

Фактически вся власть сейчас передана в руки Витте, и все теперь зависит от того, как ему угодно будет взглянуть на дело, и какое направление дать разработке намеченных вопросов. Призовут ли к участию в управлении выборных или представителей страны, затянется ли еще туже петля все зависит от Витте… Неужели же этот самый указ сочинялся в Царском и его мудрости изумлялся Муравьев? Впрочем как понимать мудрость! Составлен он так ловко, что его можно повернуть, как угодно. И как никак, но для Витте этот указ не рубль, а миллион…

Жуткий он, все-таки, сейчас человек: у него, кажется только два двигателя: личное честолюбие и личная ненависть к Царю…» (См. прилож. 34).

Из Записной книжки — 15 декабря.

«Как передать впечатления вчерашнего дня… утра и вечера?.. („Указ“ появился утром, Правительственное сообщение — вечером). - On promene des meches enflammees, entre des barils de poudre. Это вызов, брошенный провокаторской рукой, и без последствий это пройти не может!

В Москве невероятное возбуждение. Вчера в Думе заседание не могло состояться из-за колоссального наплыва публики,

заполнившей все здание Думы. Шум царил необычайный. Установили барьер для пропуска в залу гласных и представителей печати. Около этого барьера образовалась живая стена, через которую невозможно было пробраться.

К началу заседания в Малом зале собралось 34 гласных, а для открытия заседания нужно было 54 чел. Но ясно было, что, если и соберется законное число гласных, то при создавшихся условиях — занятия немыслимы. Можно без преувеличения сказать, что подобного стечения публики в Думе никогда не было, и кн. Голицын, после совещания с собравшимися гласными, решил объявить заседание несостоявшимся. Несмотря на это, публика долго не верила, что заседания не будет и еще в 71/2 час. громадное количество публики не покидало Думы: среди нее было много учащейся молодежи. И всё это происходило еще до опубликования правительственного сообщения, которое вышло только к вечеру.

Небывалое скопление публики было и в Дворянском Собрании при чтении земского адреса (Отмечая с благодарностью, выраженное в Указе доверие власти к общественным учреждениям и населению страны, Земское Собрание заявляет: „Мы твердо верим, Государь, что близок тот счастливый день, когда, по воле Вашего Величества, будет отменен существующий бюрократический строй, разобщающий Верховную Власть с народом, когда Царь призовет свободно избранных представителей всей земли русской к участию в законодательстве, дабы при содействии их упрочить могущество Государства, величие Престола и процветание родины и равноправности всех граждан перед законом, свободы слова и вероисповедания“. Адрес этот принадлежит перу Кокошкина.).

В воскресенье 12-го обедала у брата Пети на Знаменке. Там же обедали и уездные предводители. Мне пришлось сидеть с Бландовым (Подольский предв., вместо Каткова). Он рассказывал мне, что на совещании, предшествовавшем Земскому Собранию и происходившем до обеда, решено было подать адрес. „Брат ваш Петр Николаевич всеми силами восставал против, но большинство заявило, что, если он не допустит адреса, они сорвут собрание и выйдут из зала: без крупного скандала не обойтись: Московское земство должно высказаться…“

13 декабря адрес был прочтен при громе рукоплесканий. В залу набилось 600 человек публики, и нервное напряжение было таково, что заниматься нельзя было. Положение брата П. Н. было не из легких, особенно после опубликования Правительственного сообщения, в коем председатели собраний привлекались к ответственности за обсуждение нежелательных вопросов. Он

вышел из положения, написав следующее письмо Мирскому: „Хочу доложить Вам, глубокоуважаемый князь, и просить не отказать всеподданнейше доложить Государю, какие мотивы руководили мною при разрешении Земству высказаться.

По существующему убеждению, которое я вполне разделяю, Россия находится ныне в эпохе революционного движения и анархии. То, что происходит, вовсе не одно лишь простое волнение молодежи. Молодежь является лишь отражением того состояния, в котором находится общество. Состояние это в высокой степени опасно и страшно, как для всего отечества нашего, для всех нас, в особенности же для священной особы самого Государя. А посему долг каждого истинного верноподданного — предотвратить всеми зависящими от него мерами непоправимое бедствие.

На-днях я имел счастье представляться Государю Императору. Я старался объяснить ему, что то, что ныне происходит „ce n'est pas une simple emeute, mais une revolution“. Что вместе с тем русский народ толкают на революцию, которую он не хочет, и которую Государь может предотвратить. Но путь для этого один, единственно один — это путь царского доверия к общественным и сословным силам.

Я горячо убежден, всеми силами своей души, что, пожелай Государь доверчиво сплотить эти силы вокруг себя, Россия избавится от всех ужасов нависшей над ней кровавой смуты, поддержит своего Царя и его самодержавную власть и волю. При таком душевном состоянии всех людей, думающих о всем сказанном с ужасом и отвращением, не дать этим людям возможности высказать своему Государю то, что так страшно и мучительно у каждого болит — прямо выше сил человеческих. Нельзя молчать, когда отечество в опасности, нельзя не подумать о том, в каком состоянии находятся все те, у которых семья, дети… Пусть я даже буду признан формально виновным, как Председатель земского собрания, но совесть моя перед Государем чиста, и я спокоен“.

Среди этой накаленной и возбужденной атмосферы грянуло еще известие о падении Порт-Артура…

Сергей Николаевич мучительно и болезненно переживал это тяжелое событие. В неоконченной и оставшейся ненапечатанной статье он писал:

„Свершилось!.. Пал Порт-Артур после беспримерной борьбы, удивившей мир! И эта доблесть русских героев, которой будет гордиться Россия, не спасла ее от поражения и позора. И сердце полно горем и болью, и гневом, и мстительным стыдом, стыдом неумолимым, непрощающим, требующим удовлетворения“».

Из Записной книжки — 29 декабря:

«Не записывала все это время, потому что пера в руки брать не хотелось. Вспоминая впечатления, вызванные в прошлом году гибелью „Петропавловска“ и Макарова, невольно недоумеваешь… Трудно объяснить себе настроение общества теперь. Театры ни на один день не закрылись и были полны публикой. Профессор В-ий в день падения Порт-Артура был в Художественном театре и выражал негодование, что видел там военных… Брат Петя (Петр Ник.) заезжал к нам в сочельник и негодовал, что в соборах не служат панихиды, и каждый ждал от другого проявления чувства, которого сам не проявлял. И у всех был один вопрос в душе: что ж будет дальше и чего теперь желать? Впереди полный туман. А если что-нибудь ясно внутри — это растущая ненависть и жажда мщенья, но не против японцев: нарастание революционного духа. В самый день взятия Порт-Артура в Думе состоялось чествование кн. В. М. Голицына, и В. Н. Бобринская прилетела оттуда к нам сообщить, что, несмотря на падение Порт-Артура, чувствовался необычайный подъем духа» (!?).

ГЛАВА ВТОРАЯ

Из Записной книжки — 11 января 1905 г.:

«Известие о петербургских беспорядках 9-го января распространилось в Москве к вечеру из редакций газет, куда сообщались сведения по телефону.

Было воскресенье, и мы, по обыкновению, обедали в этот день на Знаменке у брата Пети. Все волновались, но достоверного никто ничего не знал. Тогда я предложила, на свою голову, попробовать вызвать из Петербурга по телефону А. Лопухина (А. А. Лопухин — директор Деп. Полиции.). К удивлению, мне это удалось. На мой вопрос: правда ли, что в толпу стреляли из пушек и убито 200 человек, он отвечал, что стреляли залпами, и убито 50 человек. Подробностей передать он мне не мог, и больше я ничего не узнала. Только к вечеру 10-го появилось Правительственное сообщение и началась забастовка на московских фабриках.

Сегодня весь день все в страшном возбуждении: ждут на завтра сражения в Москве.

Среди дня говорили о забастовке 25 тыс. рабочих. Говорят, что Цинделевская фабрика хотела работать, но с других фабрик пришли рабочие и заставили их примкнуть к движению. Слухи противоречивые: с одной стороны, идет запугивание, с другой — уверяют, что все завтра же придет в порядок.

Получено известие о назначении Трепова генерал-губернатором Петербурга с громадными полномочиями. Известие это одинаково волнует и возмущает людей самых противоположных мнений и с разных точек зрения.

Интересны подробности, которые сообщает С. Глебова.

Трепов по приезде в Петербург был назначен дежурным флигель-адъютантом к Государю. Во весь день Государь ему ни слова не сказал по поводу покушения на него, Трепова, только что бывшего, и до такой степени был с ним леденяще холоден, что Трепов, как преданный слуга старого закала, вернулся домой совершенно этим убитый и уничтоженный. Жена его Софья Сергеевна Трепова писала сюда своей дочери Глебовой, что радуется, что отъезд ее мужа на войну должен состояться послезавтра. И письмо это получено было одновременно с депешей о его назначении и переселении всего его семейства в Зимний дворец. Здесь на эту царскую милость многие смотрят, как на подписание Трепову смертного приговора… Как объяснить психологию Государя!

Впоследствии А. Лопухин рассказал нам подробно, как было

дело (Записано с его слов 9-го февраля).

„Про беспорядки 9-го января А. Лопухин говорит, что можно только удивляться малому количеству жертв. Войска так озверели от оскорблений толпы, что трудно было сдерживать их от массового истребления этой толпы. Официальные цифры пострадавших выше, а не ниже правды. Произошла ошибка: полиция сложила убитых и раненых вместе — 333, а затем показала убитых отдельно 96 человек. В действительности 126 убитых и умерших от ран и 207 раненых.

В ночь с 9-го на 10-е А. Лопухин и Рыдзаевский убеждали Мирского до 3-х часов ночи ехать в Царское и убедить Государя в необходимости сказать свое слово. Составлено было краткое, но сильное обращение к народу, где говорилось, что мятеж есть мятеж и во время войны еще более преступный, чем в мирное время. Кн. Мирский наконец убедился их доводами, но вместо того, чтобы отвезти лично Государю это воззвание, препроводил его ему при письме.

Проходит день, другой, третий. Из Царского ни слова… Наконец, Мирский туда едет, и Государь ему говорит, что воззвание хорошо написано, и он его одобряет, но не желает одного, чтоб оно исходило от его имени…

Мирский пытался ему объяснить, что от него, Мирского, оно не может иметь никакого значения, но царь настоял на своем. После этого последовало назначение Трепова, и через несколько дней воззвание к рабочим от Трепова и Коковцева с объявлением, что требования и нужды рабочих будут рассмотрены в особом совещании.

О выборе депутатов из рабочих для представления Государю А. Лопухин рассказывал, что это выдумка Трепова, поддержанная Фредериксом, о которой ни один министр не был преуведомлен.

По окончании первого заседания о рабочем вопросе, когда многие уже разъехались, Фредерикс, закуривая сигару, вдруг сказал:

— А интересно, каков будет результат завтрашней депутации.

— Какой депутации? — спросил Витте.

Тогда Фредерикс сообщил, что Государь примет завтра депутацию от фабрик. Депутаты будут по назначению от фабрикантов, от каждой фабрики, имеющей 100 рабочих.

Витте руками развел… и сказал Фредериксу:

— Мы тут несколько часов подряд рассуждаем о том, как успокоить фабрики, а вы не сочли нужным сообщить нам такое известие!

А. Лопухин предсказывает, что теперь выборы будут самые радикальные, депутаты выступят с политической программой, и

если ее откажутся принять, они сорвут комиссию.

Так оно и случилось…

В тот год в Москве в конце января должны были состояться дворянские выборы. И ввиду того, что московское дворянство еще не собиралось со дня рождения наследника престола, предстояло обсудить текст верноподданнического адреса по случаю счастливого события. Ряд земств и дворянских обществ уже высказались и среди высказанных ими пожеланий преобладало одно, общее, о созыве народных представителей. Выскажется ли московское дворянство в этом смысле или осудит все современное движение как „смуту“ и „крамолу“? — вот вопрос, который занимал и волновал в то время все московское общество“».

Из Записной книжки — 18 января:

«Вчера вечером состоялось второе совещание по поводу дворянского адреса. На первом много говорил Ф. Д. Самарин, защищая свою записку против блестящих возражений Ф. Ф. Кокошкина (Записка развивала мысль, что начало общественному движению положено земским съездом и является плодом агитации известной группы лиц, желающих воспользоваться войной и настоящим тяжелым положением, чтобы исторгнуть от правительства согласие на созыв народных представителей. Считая совершенно несвоевременным возбуждение такого вопроса во время войны, записка и по существу высказывается против представительных учреждений.).

Брат Сережа и Д. Н. Шипов намеренно молчали. Главным основанием всех возражений Ф. Самарина была „несвоевременность“… поднятых вопросов. Очень слабо ему возражали кн. Долгорукий и Клейст. В заключение Ф. Д. Самарин, с красивой вибрацией своего баритона, сказал, что русский народ не знал другой царской власти, кроме „самодержавной“ и, Бог даст, и не узнает…

Вчера говорил Сережа. Он вернулся домой в 2 часа ночи. Я не ложилась, ждала его. Он страшно был утомлен, так как с утра был на пяти заседаниях. Он почти дословно, по его словам, передал мне и своей жене (Прасковье Владимировне) свою речь.

А. Г. Щербатов (из Самаринской партии) говорил на этот раз первым и с большим подъемом о значении настоящей войны, чем вызвал в зале большое одобрение… Сережа начал с того, что он от всей души присоединяется к горячей патриотической речи кн. Щ-ва и к мыслям, высказанным им по поводу важности и значения настоящей войны для России. Но скрывать от себя правду нечего. Это лишь передовая стычка, первая страница начинающейся гигантской борьбы с монгольской расой, от

которой зависит все будущее России. Как же должны мы быть сильны и крепки, чтобы выйти победоносными из такой борьбы!

Возражая против записки Ф. Д. Самарина, брат сказал:

„В минуту, когда требуется необычайный национальный подъем для одоления врага и всех задач, поставленных войной, своевременно ли взывать к реакции и приводить страну в состояние стоячего болота? Вооруженная реакция может привести страну к молчанию, но даст ли она нам силу победить врага?..“

После этого адрес Самариных не получил 2/3 голосов. Но на следующий день Самарины внесли кое-какие поправки в свой адрес и он получил 2/3 адрес же Кокошкина и Герасимова остался за флагом.

Рассуждения Самаринской записки представляются непонятной слепотой. Казалось бы, что вся политика, вовлекшая нас в эту несчастную войну, наглядно доказывает, что „самодержавная“ власть не стоит у нас выше всех частных и партийных интересов. Как же, после всех вскрывшихся злоупотреблений, закрывать глаза на действительность и продолжать утверждать, что „самодержавие“ выше их и не имеет иных целей кроме блага народа и страны.

При большой дружбе и привязанности к семье Самариных, с которыми мы были в близком родстве (Ф. Д. Самарин был женат на моей старшей сестре Антонине Николаевне.), мне тяжело бывало видаться с ними и избегать опасных тем для разговоров и, когда уж слишком накипало, я прибегала к письменному общению. На одно из таких писем Ф. Самарин отвечал мне:

„То разномыслие, о котором ты говоришь, в сущности всегда было, только теперь переменились общественные условия. Мне, при всей моей неохоте к каким-либо публичным заявлениям, пришлось высказаться и различие наших взглядов почувствовалось сильнее, чем прежде. Не знаю, нужно ли говорить тебе, как мне было тяжело, что я не могу идти об руку в общественных делах с твоими братьями. Кажется, это было у меня на лице написано. Но, право же, это не мешает мне любить их по прежнему, и никакой пропасти между нами из-за этого не образовалось. И это именно потому, что я ценю прежде всего суть человека, как ты выражаешься, а не мнения его, которые могут быть ошибочны, могут меняться…“

А брат С. Н. еще в апреле 1904 г. писал мне из Дрездена:

„Что Ф. Самарин? Я несколько раз писал ему и рвал письма, главное, из-за того, что не могу говорить с ним о том, что переполняет мою душу, о моем патриотизме, который при всей жажде победы (и даже непоколебимой уверенности в ней) уязвлен и попран нашим главным внутренним врагом“».

Из Записной книжки — 23 января:

«Вчера состоялось, наконец, открытие Московского дворянского собрания. Народу — масса. Самаринский адрес прошел при диких воплях восторга! Но, в общем, они, кажется, дорого заплатили за минуту торжества и радости. Столько оскорблений посыпалось на них со всех сторон на другой же день во всех газетах

В результате получилось два адреса — большинства и меньшинства (219 голосов против 147). Большинство высказалось так:

„Ныне ли, в столь тяжелую пору, думать о каком-нибудь преобразовании государственного строя в России. Пусть минует военная гроза, пусть уляжется смута, тогда, направляемая державной Десницей Твоей, Россия найдет путь для надежного устроения своей внутренней жизни на завещанных нам нашей историей началах единения Самодержавного Царя с землей“.

Адрес меньшинства гласил:

„Мы жаждем только одного твоего слова — слова, которое дало бы нам почувствовать, что не порвалась связь Царя с русским народом, что, когда Ты найдешь это нужным, ты призовешь избранных от народа людей к участию в государственной работе, дабы по мудрому примеру Твоих славных предков, в единении со своим народом, приготовить путь к дальнейшему развитию и преуспеянию дорогой нам родины“.

При поверхностном чтении, казалось бы, что, по существу, адрес большинства тоже признает необходимость реформ и единения царя с народом, и вопрос только „о несвоевременности“ немедленного проведения этого в жизнь. Но суть в тексте этого адреса заключалась в том, что в нем предлагалось „единение самодержавного царя с землей“… т. е. сохранение самодержавного строя.

Брат Петр Николаевич подписался под адресом меньшинства и потому вопрос о продолжении его службы в качестве губернского предводителя был для него предрешен. Он всегда считал главною своею задачей служить объединению дворянства и расхождение с большинством в таком важном вопросе болезненно им переживалось, хотя, должно сказать, что он не придавал слову „самодержавие“ того принципиального значения, какое оно имело в глазах брата С. Н. и прочих конституционалистов. Его сбивала шиповская точка зрения, видевшая в титуле „самодержавный“ лишь какое-то археологическое украшение к титулу русского царя.

В особом мнении, представленном братом Петром Николаевичем, он придерживался шиповской точки зрения, к

которой его влекло и присущее ему желание найти компромисс, на котором все могли бы объединиться и примириться.

Но как раз в то время политические убеждения начинали кристаллизироваться и от компромиссов отмахивались, как справа, так и слева, и кучка, образовавшаяся вокруг Шипова, не имела успеха и не могла не чувствовать себя одинокой.

Когда дело дошло до выборов губернского предводителя, брат Петр Николаевич, чувствуя, что почва уходит из-под его ног, от баллотировки отказался. Выборы решили отложить до более благоприятных обстоятельств, когда выяснится подходящий кандидат, а пока, по закону, исполнение обязанностей губернского предводителя осталось за братом.

23 января на квартире Ю. А. Новосильцева собралось 70 человек дворян, из числа подписавших адрес меньшинства. Заседали до 2-х часов дня и затем с 9 до 2-х часов ночи, и по просьбе собравшихся, брат Сергей Николаевич составил „особое мнение“ от лица 147 дворян, которое, за исключением незначительных редакционных поправок, всецело принадлежит его перу. Здесь подробно освещены мотивы, заставившие „меньшинство“ голосовать против адреса „большинства“.

„Нас страшит не революционное движение, которое, само по себе, при нормальных условиях народно-государственной жизни было бы совершенно бессильным, нас страшит общестихийное возрастающее недовольство, которое вызывается неудовлетворением насущной государственной и общественной и народной нужды… Изо всех бед, постигших Россию, мы видим единственный, прямой выход — в организованном и постоянном единении Верховной власти с народом, при посредстве свободно избранных представителей земли“.

Прочитанное в Дворянском собрании 2 января „Особое мнение“ произвело известное впечатление и смущение, и несколько человек отделились от большинства и было подано еще два отдельных мнения, которые с ранее представленными и двумя адресами были совместно препровождены в Петербург».

Из Записной книжки — 9 февраля:

«Писала в последний раз о Дворянском собрании. Теперь, это отошло в область далекого прошлого, как один из эпизодов зимы, о котором вспоминают для утехи.

Не стану входить в подробности убийства вел. кн. Сергея Александровича, — они во всех газетах. Они особенно ужасны и потрясают, потому что на фоне этой кошмарной картины крови и убийства выступает обаятельный облик вел. кн. Елизаветы Федоровны, которая за эти дни выявила себя великой женщиной; нельзя не преклоняться перед ее твердостью и высотой духа…

А. Лопухин был здесь по делу следствия. Рассказы его навевают страх и уныние. На-днях ночью произвели обыски и аресты, которые дали громадные результаты. Схватили много взрывчатых веществ, по крайней мере, на восемь бомб, и массу оружия… Ежедневно хватают партии в 60 и более ружей и револьверов.

Очень крупные и богатые купцы дают на это деньги.

Один приват-доцент в Технологическом институте или университете — не помню — собрал на сходке 300 рублей на закупку оружия. Найден подробный план вооруженного восстания в Москве, с подробным распределением и указанием казенных зданий и телефонов, которые должны быть порваны для разобщения властей. На мой вопрос, какой же интерес купцам давать деньги на такое дело, А. Лопухин отвечал: „Желание играть роль и страх быть снесенным волной. Лучше стать во главе“».

24 февраля.

«Все эти дни не успевала записывать. Самым крупным событием за это время является „рескрипт Булыгину“, 18 февраля. Важность этого шага еще не осознана нами. Впечатление было насколько возможно ослаблено и испорчено Манифестом и Указом, обнародованными накануне (В Высочайшем Манифесте по случаю кончины вел. кн. Сергея Ал. „благомыслящие“ люди призывались к искоренению крамолы, дерзновенно посягающей на устои Государства Российского, полагая учредить новое управление страной на началах „Отечеству нашему несвойственных“. Высочайшим Указом (от того же 18 февраля) на Совет министров возлагалось рассмотрение поступающих на имя государя от частных лиц и учреждений „видов и предложений, касающихся усовершенствования Государственного благоустройства и улучшения народного благосостояния“.). 18 февраля я завтракала у Кристи и с трудом выслушивала его патетические речи о „самодержавии“, о „смуте“ и о „кучке“ злонамеренных подстрекателей и т. д. Вокруг сидели почтительные чиновники, внимавшие губернаторскому красноречию. Видимо Г. Кристи понял мое впечатление, так как после завтрака отвел меня в сторону и начал говорить несколько смущенно и взволнованно: „Милый друг, ты понимаешь, я все это так говорю, но очень хорошо понимаю, что кучка эта не маленькая… и положение очень и очень серьезное… Но я могу тебя успокоить: на-днях будет обнародовано нечто такое, что вполне вас удовлетворит. Я вчера вернулся из Петербурга и определенно это знаю. Ты увидишь!“

В этот же день, часа в 4, в „Петербургском Телефоне“ мы

прочли Манифест и Указ и были в полном ужасе. Я встретила брата Сережу на улице, и он издали крикнул мне: „Читала?!!“

Г. Кристи был в полном смущении и повторял: „Это не то, это вовсе не то!..“ Все с ужасом ждали 19 февраля, на которое и без того ожидались крупные беспорядки.

Утром я еще была в постели, когда Сережа пришел с газетой в руках объявить мне: „Сегодня, по примеру предков, государь вознамерился созвать представителей!..“ Он радостно смеялся и говорил, что как ни как, но Рубикон перейден!

В напечатанном в газете Высочайшем Рескрипте на имя Булыгина говорилось:

„Преемственно продолжая Царское дело Венценосных предков Моих собирания и устроения земли Русской, я вознамерился отныне с Божией помощью привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений“. В конце рескрипта, для проведения в жизнь сего преобразования, предписывалось учредить под председательством Булыгина „особое совещание“.

Со временем, с высоты истории, быть может, это покажется странным, mais, lorsqu'on fait l'histoire, когда так интенсивно переживается каждый день, такие впечатления, как от вчерашнего манифеста и указа — не могут сразу улечься и испариться. И выходит, что плюс на минус — минус!

Земство и Дума, однако, отозвались на рескрипт и изъявили свои восторги, которые как никак знаменуют, что они хотят верить! Студенты же не хотят… и затем говорят, что этого мало: им нужно социальную революцию и республику… Радикалы объявляют, что будут проводить забастовку, хотя бы пришлось прибегнуть к оружию в стенах университета. И много есть отчаянных голов, способных на это.

Брат Сережа написал было воззвание, приглашающее студентов отнестись с доверием к „рескрипту“ и приступить к занятиям, но воззвание это провалилось в Совете Университета. Профессора знают, что студенты вооружаются… и при таких условиях занятия немыслимы. Сережа говорит, что они не возобновятся, пока не произойдет реакция в обществе, которое безумствует и летит под гору, очертя голову.

Страх перед ожидаемым аграрным движением выдвигает на первую очередь земельный вопрос и заставляет делать невероятные предложения. На-днях, у Новосильцевых, на совещании земских деятелей, Петр Долгорукий предложил каждому подсчитать, сколько он может добровольно уступить

своей земли крестьянам, так как, если они сами не дадут, то все равно снизу возьмут!..

Петрункевич, о котором я писала в ноябре, что он поражает умеренностью взглядов, заявил за несколько дней до появления „рескрипта“ предложение собрать в Петербурге 600–700 чел. земцев и учредить из себя „Учредительное Собрание“ и т. д… Сережа не видит сейчас возможности издавать журнал, так как, за исключением 3-х, 4-х чел. среди намеченных им сотрудников, все перешли в радикальный лагерь.

Сегодня, проездом из Петербурга, у нас был дядя С. А. Лопухин (в то время прокурор судебной палаты в Киеве). Он оптимистически настроен. Так же, как и А. Лопухин (директор департамента полиции), он верит, что рескрипт внесет дифференциацию в общество, и что здоровые элементы за него уцепятся. Предложение гласного Мануйлова в Земском Собрании избрать комиссию для выработки проекта от московского земства должно заставить работать, а не болтать только, и должно и крайние элементы в Земстве привести к известным компромиссам и заставить призадуматься над трудностями осуществления и проведения в жизнь реформ, о которых сплеча так многими легко говорится. Адрес Думы и Земства очень хорошие признаки.

Но всё же все в недоумении: как связать этот „Рескрипт“ с Манифестом и Указом?.. И только руками разводят!..

Дядя С. А. Лопухин привез нам любопытное разъяснение. 17 февраля он был у Манухина (министра юстиции), и беседа шла о современном положении дел. Манухин говорил, что, вероятно, вскоре будет дано что-нибудь положительное, потому что дальше так жить нельзя. „Будет, конечно, переходный момент…“ На этом отворяется дверь, и курьер подает два пакета: в одном был Указ, в другом Манифест…

После прочтения оба были в оцепенении. Манухин извинился, что должен немедленно приступить к распоряжению об опубликовании, и дядя С. А., распростившись с ним, поехал к А. Лопухину. Когда последний узнал о Манифесте, он за голову схватился:

„Как? Быть не может!..“ и поспешил к телефону уведомить Булыгина. А Г. Булыгин тоже ничего не знал о появлении Манифеста. Он знал, что у Государя заготовлен Манифест еще со смерти вел. кн. Сергея Ал. и приблизительно знал его содержание, но надеялся, что ему удалось убедить Государя его не выпускать, и тут поражение было полное, и перспектива на завтрашний день резни (19 февраля, дата освобождения крестьян от крепостной зависимости была всегда излюбленной датой для политических демонстраций.).

В пятницу, 18 февраля, все министры и члены Государственного Совета съехались по обыкновению в Царском. Булыгин взял с собой заготовленный им проект Манифеста (о котором, вероятно, и говорил мне Г. Кристи), и тут общим единодушным напором удалось склонить Государя подписать „рескрипт“, который, вероятно, испекли на месте, переделав Булыгинский проект Манифеста. Сольский, старейший между присутствовавшими, торжественно скрепил подпись Государя, отвесив ему низкий поклон, и поздравил с вступлением России в „новую эру“, а старик Хилков стоял и широко крестился, пока Государь подписывал…

Уже к вечеру 18-го в Петербурге продавали „добавление“ Правительственного Вестника с „Рескриптом Булыгина“, и публика не знала, какой исторический момент лег между этими двумя актами. Пока Булыгин находился в Царском, ему по телефону то и дело передавали о новых беспорядках то там, то здесь и, главное, в Баку. Всё это поддерживало единодушие представителей бюрократии d'abdiquer en faveur des representants. Но один голос раздался против, голос С. Ю. Витте!

На-днях у нас завтракал Петрункевич и сообщил еще интересную версию (из достоверного источника) о том же „рескрипте“. В день обнародования Манифеста (18 февраля) представители группы финансистов, с которыми Коковцев вел переговоры о заключении займа в Париже, явились к нему с тем, что при данных условиях: Манифеста и Указа, заем нельзя будет реализировать… Курс наш не упадет от неудач в Манчжурии и даже, если бы вспыхнула война с Англией, но с „манифестом“ Россия вступает на путь смуты, и ценности наши должны упасть до 75 %… Коковцев был против „представителей“, но пришлось доложить царю, что денег нет и занять нельзя будет, если остаться при Манифесте. Пришлось согласиться на Рескрипт. Таким образом, on lui a force la main.

Эта версия поразила меня, так как несколько дней тому назад „Русские Ведомости“ цитировали Сеньбоса, который высказывал мысль, что никакое правительство не имеет право вмешиваться во внутренние дела чужой страны, но Франция — кредитор России, и как таковой, может потребовать порядка, который бы ей обеспечил доходность ее капитала.

Еще в январе, одновременно с заседаниями в Дворянском Собрании, Сергею Николаевичу приходилось посещать заседания Совета Московского университета и там волноваться за университетское дело. Положение создалось почти безвыходное. После беспорядков 5–6 декабря молодежь, в виде протеста против „избиения“, бастовала во всех учебных заведениях Империи, и все

последующие события только подливали масло в огонь.

Совет Московского университета еще 19 января постановил ходатайствовать об отсрочке начала занятий впредь до особого постановления о том Совета. 30-го же января, решив принципиально вопрос о желательности открытия университета, Совет в то же время нашел нужным выслушать самих студентов и с этой целью разрешил им курсовые совещания. Настроение студенческой массы не позволяло надеяться на возможность возобновления занятий и Сергей Ник. считал такой опыт крайне опасным и нежелательным и всемерно желал, чтоб в Петербурге поняли это. 26-го января кн. Алексей Дм. Оболенский писал ему из Петербурга:

„Было бы очень хорошо, если б ты мог сюда приехать. Мне бы очень хотелось устроить тебе свидание с А. С. Ермоловым, которого и он очень желает".

Одновременно с этим письмом, брат С. Н. получил письмо и от самого А. С. Ермолова:

„Очень просил бы Вас в ближайший Ваш приезд в Петербург меня посетить, так как по многим вопросам в Вашей записке и в Ваших статьях, как и в статьях Вашего брата затронутым, мне было бы весьма важно с Вами переговорить. В то смутное время, которое мы переживаем, личный обмен мнений по жгучим вопросам современного положения представляется мне особенно необходимым".

Брат С. Н. не пренебрег этим приглашением и слетал в Петербург, где завязал личное знакомство и отношения с А. С. Ермоловым — в данный момент было ему особенно важно заручиться его голосом в Совете Министров, куда восходили постановления Совета Московского Университета. Взгляды А. С. Ермолова на возможность занятий в высших учебных заведениях, невидимому, совершенно совпадали со взглядами С. Н.

25 февраля в „Русских Ведомостях" появилась статья С. Н.: „Быть или не быть университету". Рисуя общую картину развала русской школы за последние годы, он развивает мысли, высказанные в постановлении Совета о необходимости восстановления университетской автономии:

„Восстановление правильного, автономного университетского строя есть первое условие правильного течения академической жизни. Сразу, в те смутные времена, которые мы переживаем, и эта мера, разумеется, не исцелит всех глубоких язв, не исправит все настроение, унаследованное от прошлого. Она не устранит общие университетские причины волнений среди молодежи, но, тем не менее, она совершенно необходима и именно теперь может сделать весьма многое. Управление университетами

должно быть немедленно поручено Советам университетов, которые с этой целью должны избрать Правление и ректоров… Университетская инспекция должна быть безусловно подчинена правлению, если не упразднена вовсе за совершенной ненадобностью.

Равным образом, Правлению и Советам должна быть предоставлена полная самостоятельность в делах внутреннего управления университетами. Самостоятельность университета — вот что нужно нам, что должно заключаться в самом строе университета, если мы хотим, чтобы питомцы его жизненно понимали его назначение, и чтобы учащая коллегия имела на будущее время силу и право свободно осуществлять эту цель и властно требовать ее признания от общества и учащейся молодежи“».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В конце февраля 1905 г. в Москве происходили совещания группы земских деятелей, съехавшихся со всех концов России, и одновременно происходили совещания и городских деятелей. Брат Сергей Николаевич посещал Земские совещания, собиравшиеся в д. Ю. А. Новосильцева (на Б. Никитской), и весьма ими интересовался.

Кроме вопросов о предстоящей организации представительства и о разрешении аграрного вопроса, оживленные прения возбуждал вопрос об отношении к Совещанию, образованному под председательством Булыгина. Все признавали желательным и необходимым участие выборных от земств и городов и представителей существующих общественных учреждений в работах этого Совещания, и большинство примкнуло к мысли обратиться с соответствующей петицией в Совет Министров, на основании «указа 18 февраля». Аналогичное представление было принято и на совещании городских деятелей. Но А. Г. Булыгина было трудно подвинуть на такое дело.

Кн. А. Д. Оболенский писал С. Н. (25 февраля 1905 г.):

«События идут с такой головокружительной быстротой, что прямо не успеваешь сосредоточиться, чтобы сделать какое-нибудь основательное предположение. После „Рескрипта“ центральной точкой сделался, по крайней мере в моих глазах, — Булыгин. Я и перенес на него свои наседания. Думаю, однако, что это вотще. Если б и удалось его раскачать, то время будет упущено. Теперь военные события всё заслонили, и то малое спокойствие и малое внимание, на которое еще можно было рассчитывать, почти что улетучиваются. Тем не менее, я не покладаю рук. Нечего говорить, что „Рескрипт“ сам по себе никого и ничего успокоить не может. Но отчего его оставлять самого по себе? Дело в том, что он всё-таки есть малая брешь, маленькое отверстие, которое надо всячески стремиться увеличить. Едва заметная тропинка, но почему не попробовать и по ней идти? Может быть, дорога и проторится. Ведь, если мы этим не воспользуемся, поле активной деятельности останется за Грингмутом, с одной стороны, и бомбами, с другой, причем, без сомнения, победят последние. Вот почему я и сосредоточился на Булыгине, действуя прямо и косвенно, побуждая его собрать большую, широкую и гласную комиссию. Ведь ясно же, что вся наша задача теперь сводится к тому, чтобы спасти возможно большее количество человеческих жизней. Что же при таком положении делать?

По-моему, надо выбирать депутации, посылать их сюда,

приставать к Булыгину, убеждать, укреплять и проч. всеми зависящими мерами. Надо притворяться, что „Рескрипт“ большая дорога и идти по его тропинке, как по большаку. Я начал с того, что сказал тебе, что это вотще. Но, кто знает? Если одно слово „доверие“ Мирского доковыряли до Указа 12 декабря, то неужели „Рескриптом“ нельзя воспользоваться и довести до настоящих с. и. п. (свободно избранных представителей). Ты скажешь, теперь времена другие, теперь уже адресов писать не хотят. Это верно, но ведь надо же иметь достаточно политического такта и чутья, чтобы ухватиться и за маленькую веревку, выброшенную с берега в лодку, „волнами обуреваемую“. Потяни за веревку, может, в конце окажется канат, и ты, взявшись за него, пристанешь к берегу и благополучно. Но, главное, не надо отвращаться от этой веревки, потому что она попала случайно, что ее не так следовало бросить, что она может порваться и проч. и проч. Во всяком случае, людям благоразумным, людям порядка нечего другого делать».

Несколько дней спустя, 1-го марта А. Д. Оболенский вновь писал:

«Милый друг Сережа! Сегодня есть оказия, которую упускать не хочу, а потому пишу несколько слов. Булыгина раскачать непомерно трудно. Одних ходатайств мало, надо депутации, которые прямо бы ломились в двери. Здесь имеются безумцы, в числе их С. Д. Ш., с пеной у рта доказывающий, что вся смута выдумана, даже в Петербурге, что Россия покойна и желает лишь одолеть врага, который все слабеет и проч. Что делать против такого сумасшествия? Но этих сумасшедших оставляют на свободе и даже со свободой ходить во дворец! Удары, нанесенные нашей армии, все же, кажется, делают свое дело, и мне сдается, что поворот на этих днях должен быть и наверху. Мы ходим в большом унынии, и состояние растерянности и меня начинает охватывать.

Витте теперь находится в хорошем настроении и с ним можно разговаривать. Он правильно, по-моему, смотрит на дело. К сожалению, он себя совершенно скомпрометировал во всех местах, и у него все-таки людей нехватает».

Из Записной книжки:

— «Сегодня у нас состоялось собрание редакции для обсуждения программы проектируемого журнала „Московской Недели“. Кроме братьев — Евгений приехал из Киева третьего дня — были Петрункевич, кн. Шаховской, Кокошкин, Н. Н. Львов, Новосильцов, двое Долгоруких (Петр и Павел), Вернадский, Новгородцев, Котляревский, Рахманов, Герценштейн и Якушкин. При обсуждении программы журнала главным

вопросом было, будет ли журнал отстаивать прямую или двухстепенную подачу голосов. По этому возникли продолжительные прения».

Еще из Записной книжки.

Я сидела у себя в гостиной; дверь из Сережиного кабинета в коридор была отворена. Я просила Сережу не закрывать ее и сказала, что постараюсь записать для себя всё, что будет говориться.

Сережа начал с того: обсуждать ли вопрос об организации журнала или его программы? В вопросе программы касаться ли теперь вопроса о двух палатах, обсуждавшихся на съезде у Новосильцева? Все согласились отложить обсуждение этого вопроса, а теперь заняться вопросом о прямой или двустепенной подаче голосов. Сережа напомнил, что в первом заседании редакции большинство высказалось против прямой подачи и за двустепенную.

Кн. Шаховской заметил, что это вопрос наиболее важный для определения политики издания. Он, безусловно, за прямую подачу голосов, так как равенство прав может быть достигнуто лишь путем прямой подачи. Эта идея должна объединить всех, и недоверие к массам не согласуется с основными принципами редакции, которая именно должна стоять за равенство прав для всех. Отступление от признания прямой подачи голосов вызовет раскол.

Кокошкин напомнил, что если остаться на почве съезда, то там вопрос о прямой подаче разрешен в том смысле, что, хотя в принципе и желательно прямое голосование, но для первых выборов едва ли это осуществимо…

Кн. Петр Долгорукий — убежденный сторонник прямой подачи, но для созыва Учредительного Собрания он считает возможным допустить двустепенную подачу с тем, чтобы последующие выборы производились бы уже посредством прямого голосования. На возражение о малокультурности народа он приводит в пример Болгарию, где, по словам Милюкова, еще менее были культурны, чем у нас однако, прямая подача там принялась и дала благие результаты.

Якушкин согласен, что в принципе прямые выборы — идеал, но в данную минуту приходится признать обязательность двухстепенных выборов для Учредительного Собрания. Прямая подача должна быть введена, как программный пункт журнала.

Н. Н. Львов. Вопрос о прямом избирательном праве теряет свою остроту при двухпалатной системе. Опасность прямого голосования заключается в тенденции к демократическому абсолютизму. Вторая палата служит здесь коррективом. В виду

этого он предлагает рассматривать вопрос о прямой подаче, не как вопрос догмы, а вопрос целесообразности.

Кн. Шаховской с горячностью возражал на это, что всё русское образованное общество смотрит на эту идею именно как на догму, дорожит ею. Это вопрос существа. Только при этом возможно политическое воспитание народа и развитие в нем сознания равноправности. Народную массу должно воспитать возможно скорее и это быть может достигнуто только путем представительства всех граждан, а не учреждений. Опасности прямой подачи он не отрицает, но если бояться опасности, то и строя менять нечего.

Мануйлов заявляет, что он защитник двустепенных выборов не в силу того, что считает народ неразвитым и глупым, — наоборот, народ понимает свою ближайшую выгоду и потому, когда дело дойдет до выборов, он скорее выберет кабатчика, от которого он в зависимости, чем его, Мануйлова, хотя бы он его любил и уважал. До понимания других, более общих выгод народ не дорос. Вот где опасность, почему и нужна постепенность. Он не за нарушение демократического принципа, но пока за двустепенную подачу и за две палаты.

Кокошкин не видит нарушения демократического принципа в двухпалатной системе. Одна система может перейти в другую — двустепенная в прямую… Несомненно, что народ должен как можно скорее приучаться разбираться в партиях, и потому прямая подача лучше, но ведь партии пока не образовались, и народ их не понимает. Поэтому теперь, при первых выборах для Учредительного Собрания может быть только речь о двустепенной подаче, а затем для последующих выборов и прямая.

Кн. Е. Н. Трубецкой. Нужно стремиться к идеалу прямой подачи, но так как в данное время для осуществления ее возникает много серьезных неудобств и возражений, выставлять прямую подачу, как догмат — нельзя и, обсуждая вопрос, надо дать свободу высказаться за и против.

Кн. С. Н. Трубецкой. Надо в журнале дать простор свободному обсуждению всех «pro» и «contra». Болгарию одну нельзя ставить в пример достойный подражания: надо помнить, что она прошла через «стамбуловщину». Гессен согласился, что два года такого режима хуже всякого самодержавия.

Петрункевич согласен с Шаховским, что отступление от принципа приведет к расколу. Враги у нас направо и налево — мы в центре. Левая сильнее своей фанатической верой и она организована. Если мы с нею не сговоримся — мы бессильны… и она может внести страшное разрушение. Поэтому я скажу: если б

мы даже думали иначе, если бы прямая подача не лежала краеугольным камнем в нашем сознании, мы должны были бы в этом согласиться с левой. Поэтому должно настаивать, чтобы лозунг прямой подачи был открыто высказан, а затем можно предоставить и свободу обсуждения. Мануйлов и кн. Е. Трубецкой сомневаются, чтобы путем уступок можно было бы приобрести доверие левой.

Н. Н. Львов. Нам ни в коем случае не следует идти за крайними партиями. Задача в том, чтобы разгадать реальность.

Котляревский. Едва ли хорошо для уничтожения недоверия давать нашим противникам повод попрекать нас вынужденными уступками. Мы стояли до сих пор и должны стоять на собственной почве.

Кн. Е. Трубецкой никак не может согласиться с Петрункевичем, что «даже если мы думаем иначе», мы должны принять прямую подачу, чтобы идти в ногу с левой. Это не соответствовало бы достоинству партии, ни ее назначению. Не должно также переоценивать значения крайней партии. Она должна считаться с нами и привыкнуть к мысли, что у нас есть принципы, на которых мы твердо стоим, и ими не поступимся. Мы должны резко очертить границы и не идти на буксире крайних партий. Например (говорю только для примера) мы должны резко поставить вопрос о неприкосновенности индивидуальной собственности. Петрункевич спрашивает, что задача журнала литературная или политическая? Практический политик должен учитывать силы. Мы не должны делать уступок ни правой, ни левой. Говоря об уступках, он разумел народную массу, а не социал-демократическую партию. Верит ли масса в этот лозунг? Если нет пока, то все-таки мы должны учесть быстроту демократизации мнений. Рабочее движение только что доказало нам, с какой быстротой усваиваются политические понятия, то же может произойти и в крестьянской среде.

Герценштейн думает, что как рабочее, так и крестьянское движение склонны преувеличивать. Он не верит в сознательных рабочих, и что они способны сами выдвинуть вопрос о прямой подаче голосов, как вопрос догмы.

Петрункевич не без язвительности заметил, что, вероятно Михаил Яковлевич Герценштейн имеет сведения о рабочих от рабочей инспекции…

Кн. Шаховской. Дело не в социал-демократии, а в том, как велико мыслящее общество, и чем оно живет? Кто наблюдал немного, тому ясно, какую роль сыграл — «Сын Отечества» и «Наши Дни» в рабочем движении, а также и банкеты… Я знаю, какое распространение «Наши Дни» получили среди казаков,

какое впечатление произвело запрещение этого журнала. А учительская организация, располагающая 10.000 учителей для пропаганды? Кн. Шаховской заключает тем, что наша трезвость нас погубит.

Н. Н. Львов утверждает, что если сознания нет, — есть инстинкт равенства, присущий нашему крестьянству. Если бы мы могли рассчитывать на искренность нашего правительства, — вопрос стоял бы иначе, но на это рассчитывать нельзя. Следовательно остается опереться на народ и на народный инстинкт, который может вспыхнуть и озарить для него вопрос. Это не догмат, а реальность, на которую можно опереться.

Герценштейн. Позволю себе предложить вопрос Ивану Ильичу (Петрункевичу): будем ли мы идти на буксире крайних партий и в сфере экономических и аграрного вопроса?

Петрункевич. Делать уступки можно, но не в принципах. В вопросе о прямой подаче мы в принципе сходимся с левой, вопрос для нас лишь в несвоевременности. В экономических вопросах уступки могут произвести страшные потрясения. Например, идея черного передела: пойду ли я на это? Да ни в коем случае!..

На этом окончились прения по вопросам программы, приступили к организационным вопросам журнала, и я, устав слушать и записывать, закрыла дверь.

Первый номер «Московской Недели» должен был выйти 1-го мая 1905 г. В передовой статье С. Н. радостно приветствовал Указ 17 апреля о веротерпимости, признавал в нем первое доброе дело современного движения, переходом от слова к делу. Несмотря на свою неполноту, «великий принцип веротерпимости впервые получил реальное, хотя еще не совершенное, признание для инославных, а политика реакционного агрессивного национализма и национальной вражды на окраинах изменилась». Ряд правительственных актов и мероприятий свидетельствует о совершающемся повороте к политике умиротворения, к признанию права языков и национальностей, входящих в состав Империи.

Трудно и радостно вместе жить в эти дни. Встретим их бодро, без малодушных страхов, зная, что много бурь впереди, много работы, и что расплата за грехи нашего прошлого неизбежна и велика. Но есть сознание, что необъятное поле раскрывается перед нами шире и шире, что оно зовет работников, что теперь можно жить и умереть для великого и светлого дела. Есть сознание, что труд наш не пропадет, и много нас выйдет в поле.

Несмотря на такое оптимистическое настроение передовой статьи первого № «Московской Недели», ей, не суждено было увидеть свет при жизни С. Н. (см. прилож. 25).

Еще в конце апреля И. М. Петрункевич привез из Петербурга тревожные сведения.

Кн. П. В. Трубецкая писала брату Евгению в Киев:

«Цензура строит каверзы. Петрункевич, который сегодня вернулся из Петербурга и завтракал у нас, говорит, что в цензурном комитете в Петербурге очень боятся этого нового органа, не потому, что редактор принадлежал к крайней левой, а потому, что он к ней не принадлежит, и что голос разума с своим отрезвляющим действием может сильнее повлиять, чем крайние нелепицы».

Первый номер «Московской Недели» задержался и, вместо 1-го мая, должен был выйти 12-го. 10-го мая инспектор типографии частным образом справлялся в типографии Кушнерева о том, когда начнется печатанье «Московской Недели»: ему надо было ехать на дачу, а газету имелось в виду арестовать, о чем редакция была своевременно предупреждена. На другой день, через 3/4 часа после отсылки в цензуру первого номера этой бесцензурной газеты она была арестована, или точнее, пришлось напечатать газету, арестованную до тиснения.

Судебного преследования против С. Н. не было начато, да едва ли могло быть начато, как по существу, так и по чисто формальному основанию, поскольку номер не только не был опубликован, но даже не успел быть оттиснутым. Арест первого номера не заставил С. Н. сразу отказаться от издания, он был твердо уверен, что обстоятельства в скором времени изменятся, но за арестом первого номера последовал арест 2-го и 3-го…

В недоконченном письме к П. Г. Виноградову мы читаем:

«Дорогой Павел Гаврилович! Арест „Московской Недели“ (три № подряд) заставляет нас воздержаться от издания до перемены веяния. Ничего в этих номерах нецензурного не было: все дело объясняется доносом Грингмутовского агенства, вследствие которого, по мановению из Петербурга, газета арестовалась в станке, до отпечатания. Очевидно, надо переждать.

Как жаль, что Вас здесь нет среди этой кипучей, напряженной жизни, разом пробудившейся. В Ваших письмах так чувствуется, что Вы пишете издалека… Я сам противник „четырех-хвостки“, т. е., в особенности, прямой и не могу не сочувствовать многому, из того что Вы пишете. Вы знаете, что я никогда не был радикалом, что я антирадикал. И, однако, я уверен, были бы Вы среди нас, Вы бы многое иначе написали: недостаточно быть осведомленным о движении, надо его чувствовать, его осязать, чтоб с ним бороться, надо присутствовать при дебатах всех этих бурных многочисленных собраний и съездов, видеть настроение

масс»…

Много труда, энергии и сил затратил С. Н. на дело редакции и глубоко сознавал значение и ответственность печатного слова в эти дни. Он считал, что печать не только должна служить принципиальному и всестороннему освещению и разработке вопросов, «но и организации общественного мнения, она приобретает новое политическое значение, какого раньше она не имела».

Ясно, что именно этого последнего в Петербурге нисколько не желали и с тревогой следили за «кристаллизацией» сил вокруг С. В., значение и популярность которого среди общественных деятелей росли с каждым днем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Среди напряженной, кипучей деятельности здоровье брата С. Н. внушало уже большие опасения. Еще в апреле княг. Прасковья Владимировна писала брату Евгению в Киев:

«Был у нас доктор Плетнев, которому я предварительно сказала, как Фохт склонен определять Сережину болезнь. Добросовестнейшим образом выслушав Сережу, он повторил буквально слово в слово все, что сказал Фохг. Страшного слова при Сереже сказано не было, но мне он объяснил, что стеснения в груди могут происходить от грудной жабы, если не происходят от расширения сердца, что тоже склонно вызывать такого рода явления. Условием лечения поставил, чтобы он отказался от редакторства и уезжал в деревню. То же сказал и Фохт, когда я его видела в последний раз. Конечно, Сережа уже говорит, что не поедет ни за что и никуда.

Вчера он отсутствовал из дому, благодаря делам по редакции, чьему-то диспуту и обеду с новым доктором, 18 часов сряду. Притом не особенно устал и сегодня имеет вид хороший. Только хуже спал, потому что попил вина».

Наряду с сердечными явлениями все усиливавшийся склероз проявлялся в частых приливах к голове и мигренях. Переутомление было как бы хроническим его состоянием, когда в начале мая мне пришлось уехать из Москвы в Париж на свадьбу сестры.

Можно себе представить, как потрясло С. Н. известие о гибели нашего флота под Цусимой!.. Л. М. Лопатин, который был у брата, когда он получил по телефону первое известие о катастрофе, рассказывает, что он страшно побледнел и весь дрожал, голос его прерывался…

Статья его об этом событии в «Московской Неделе» (№ 3) дышит горем и почти отчаянием. Перечисляя все пережитые нами поражения: уничтожение Тихоокеанской эскадры, Ляоян… Порт-Артур и Мукден, подробности о котором продолжали еще поступать, С. Н. пишет:

«Теперь совершилось последнее: у России нет флота, он уничтожен, погиб весь в безумном предприятии, исход которого был ясен всем.

Умер ли русский патриотизм, умерла ли Россия? Где ее живые силы, ее исполинские силы, ее гнев и негодование? Или она разлагающийся труп, падаль, раздираемая хищниками и червями… Час пробил. И если Россия не воспрянет теперь, она никогда не подымется, потому что нельзя жить народу,

равнодушному к ужасу и позору!.. Полгода назад еще раздавались голоса, говорившие, что поражения на Дальнем Востоке не наши поражения, а поражения нашей бюрократии. Но можем ли мы, имеем ли мы право успокаиваться на этом, особенно теперь, когда наша армия разбита, когда русский флот уничтожен, когда сотни тысяч людей погибли и гибнут? Мы-то русские или нет? Армия наша русская или нет? И, наконец, миллиарды, которые тратят, принадлежат России или бюрократии? И, наконец, самая бюрократия, самый строй наш, который во всем обвиняют, есть ли он нечто случайное и внешнее нам, независящее от нас приключение? Если причина в нем, то снимает ли это с нас наш стыд, нашу вину, наше горе, наш долг и нашу ответственность?..

Так, как мы жили до сих пор, мы больше не можем, не должны жить, не хотим жить. Теперь всякое промедление в созыве народных представителей было бы не ошибкой, а преступлением».

На этот раз вся печать была единодушна в выражении гнева и горя, и даже самые умеренные органы, как «Слово», «Новое Время», пришли к заключению о необходимости немедленного созыва народных представителей. Только верные себе «Московские Ведомости» звучали диссонансом в общем хоре.

Страшное возбуждение охватило все общественные круги. Организационное бюро земских съездов признало необходимым созвать общеземский съезд на 24 мая в Москве с целью выработать обращение к верховной власти. К земцам решили присоединиться и городские деятели, так что съезд 24 мая был созван соединенным бюро этих организаций.

Не будучи гласным, брат С. Н. не мог вступить в общеземскую организацию и принимал участие в майском коалиционном съезде лишь потому, что ввиду исключительных обстоятельств на этот съезд допускались общественные деятели по специальному приглашению объединенных бюро, а его присутствие особенно было желательно всем.

Накануне съезда стало известно образование министерства полиции и назначение Трепова… Действие, произведенное этим актом на съехавшихся земских и городских деятелей, было таково, что многие решительно отказывались от какого-либо обращения к Государю, указывая на явную бесполезность этого после совершившегося. «В ответ на общенародное бедствие — учреждение полицейской диктатуры»… Это была, действительно, какая-то безумная и опасная провокация.

В соединенное бюро было внесено несколько проектов обращения к Государю, которые отвергались, и дело грозило распасться. И тем не менее патриотическая потребность

объединиться в эту минуту величайшей опасности взяла верх, и призыв к единению, исходивший от Д. Н. Шипова и И. М. Петрункевича, оказал свое действие. Последний в горячей речи напомнил присутствующим, что у всех, без различия партий, есть обязанность не только перед Россией, но и перед престолом, которому грозит опасность, что крушение престола было бы гибелью для России, и что он сознает это тем сильнее, что сам, как и большинство собравшихся, является решительным сторонником конституционных реформ.

После этой речи обращение к Государю было признано необходимым и брату С. Н. было поручено составить его текст, который после двухдневных дебатов и поправок был принят объединенным собранием, а затем была избрана и депутация для представления ее Государю.

Текст петиции Государю Земского съезда, 24 мая 1905 г.:

«Ваше Императорское Величество! В минуту величайшего народного бедствия и великой опасности для России и самого Престола Вашего, мы решаемся обратиться к Вам, отложив всякую рознь и все различия, нас разделяющие, движимые одной пламенной любовью к Отечеству.

Государь! Преступным небрежением и злоупотреблением Ваших советчиков Россия ввергнута в гибельную войну. Наша армия не могла одолеть врага, наш флот уничтожен, и грознее внешней разгорается внутренняя усобица.

Увидав вместе со всем народом Вашим все пороки ненавистного и пагубного приказного строя, Вы положили изменить его и предначертали ряд мер, направленных к его преобразованию. Но предначертания эти были искажены и ни в одной области не получили надлежащего исполнения. Угнетение личности и общества, угнетение слова и всякий произвол множатся и растут. Вместо предуказанной Вами отмены усиленной охраны и административного произвола, полицейская власть усиливается и получает неограниченные полномочия, а подданным Вашим преграждается путь, открытый Вами, дабы голос правды мог восходить до Вас.

Вы положили созвать народных представителей для совместного с Вами строительства земли, и слово Ваше осталось без исполнения, несмотря на все грозное наличие совершающихся событий, а общество волнуют слухи о проектах, в которых обещанное Вами народное представительство, долженствовавшее упразднить приказный строй, заменяется сословным совещанием.

Государь! Пока не поздно, для спасения России, во утверждение порядка и мира внутреннего, повелите без замедления созвать народных представителей, избранных для

сего равно и без различия всеми подданными Вашими.

Пусть решат они, в согласии с Вами, жизненный вопрос Государства, вопрос о войне и мире, пусть определят они условия мира, или отвергнув его, превратят эту войну в войну народную. Пусть явят они всем народам Россию, не разделенную более, не изнемогающую во внутренней борьбе, а исцеленную, могущественную в своем возрождении и сплотившуюся вокруг единого стяга народного. Пусть установят они в согласии в Вами обновленный государственный строй.

Государь! В руках Ваших честь и могущество России, ее внутренний мир, от которого зависит и внешний мир ее, в руках Ваших Держава Ваша, Ваш Престол, унаследованный от предков.

Не медлите, Государь!

В страшный час испытания народного велика ответственность Ваша перед Богом и Россией!»

Из Записной книжки — Москва, 9-го июня 1905 г.

«Я была в Париже во время получения известия о Цусиме, и в Бретани во время общеземского и городского съезда. Прочтя адрес в „Matin“, я сразу узнала Сережино перо и решила ехать немедленно. Приехала я в Москву 1-го июня и дома узнала, что брат С. Н. с женой только что выехал в Меньшово. Я собиралась уже ехать следом, как вдруг С. Н. вернулся. На вокзале его задержал Н. Н. Львов и сообщил только что полученную Головиным телеграмму:

„Приезд Трубецкого необходим, желают принять“.

Погода стояла очень жаркая. Сережа был утомлен и раздражен и все повторял: „Я так устал! Мне не дают отдохнуть! Зачем меня вытащили из вагона? Что я скажу царю?.. Я не земец и ни к какому городу не принадлежу, в качестве кого я буду представляться?..“

Он мне рассказывал, что и в съезде не хотел принимать участия. Сначала к нему приехал Петрункевич и убеждал ехать к Новосильцевым (где происходил съезд), он наотрез отказался. Тогда Петрункевич вернулся и притащил с собой несколько человек со съезда, которые и уломали его. Он говорит: „Два дня был сущий ад! Жара, крик, шум“. Под впечатлением Цусимы все были так радикально настроены, что первая редакция адреса, написанная Сережей, прошла лишь незначительным большинством. Сережа долго не хотел его переделывать, но желание, чтобы адрес был принят единогласно — пересилило, он внес некоторые поправки, после чего только двое или трое не подписали, в том числе кн. Б. Б. Голицын, который обиделся на выражение „приказный строй и нападки на бюрократию“, и Пржевальский, желавший более радикального адреса.

С. Н. из Москвы писал кн. Прасковье Владимировне в Меньшово:

2-го июня.

„Милая Паша! С вокзала мы поехали к Головину, который только что получил депешу: „Вызовите Сергея Трубецкого, его желают принять“. Прием депутации после адреса, написанного мною в выражениях, после которых обыкновенно прежде наказывали или негодовали, да еще при этом, в такую минуту, есть акт столь великой важности, что нельзя не ехать. Меня уговаривали отправиться немедленно, но я не хотел уезжать без вещей, хотя мне брались доставить их с кондуктором.

Вчера приехала сестра Ольга и рассказывает много интересного. Я лег в 12 часов и проспал, как убитый, до 91/2 утра, без всяких капель. Сегодня в 53/4 уеду, если не получу депеши. Я никак не могу себе представить, чтобы царь не передумал!

Меня раздражает расход на поездку: придется новый котелок купить и, пожалуй, новые штиблеты: в утешение приходится сказать, что все равно это пришлось бы сделать!

Идти еще раз к доктору, когда он осмотрел меня только вчера и нашел улучшение — излишне: болевые ощущения, которые у меня были в тот момент, когда он меня смотрел и слушал, при совершенно правильном пульсе, он признал чисто нервными. Отдохнем по возвращении!.. Крепко целую. Сережа“.

В самый день съезда в Париже появился по телефону наш адрес со словами: „au lieu du Manifeste Imperial attendu, c'est un Manifeste national qui a paru, car tel est le caractere de cet acte du congres des representants des Zemstvo et des villes reunis“.

Прокурор палаты отказывается от возбуждения судебного преследования против „Московской Недели“».

Из Записной книжки:

«Сережа не знал, что выбран в кандидаты депутатов, и что вследствие отказа Д. Н. Шипова его должны были вызвать.

Впрочем, его участия в депутации желали с обеих сторон. Государь, из представленного ему списка депутатов, указал сначала на четырех: гр. Гейдена, Н. Львова, Головина и Трубецкого. Когда Сережа прибыл в Петербург, там все еще шли переговоры о составе депутации: гр. Гейден настаивал, чтобы приняты были все. Государь долго колебался, не решался, но, наконец, уступил, говорят, по совету Трепова.

Сережа только 3-го приехал в Петербург. По вечерам собирались у Петрункевича, где обсуждали, как и что говорить царю. Все просили Сережу взять на себя роль лидера, говоря: „Лучше вас никто не скажет!“

Брат писал своей жене из Петербурга: (На бумаге штемпель Hotel de France, Renault).

„Страшно занят, но здоров совершенно от подъема… В понедельник примут, но не знаю, отпустят ли, в среду необходимо быть в Москве.

Ты не можешь себе представить, какое колоссальное значение этому придается здесь и в Европе… а как кончится? не знаю. Петь придется мне „соло“, надеюсь на хор, а, может быть, и на других солистов. Ты понимаешь, как трудно обо всем этом писать. Можешь также представить себе во всем этом А. Оболенского и его ажитацию! Во всяком случае, в понедельник буду телеграфировать, хотя вечером… Настроение общее — бодрое и хорошее“».

Из Записной книжки:

«Сережа не записал заранее, что скажет царю и сказал, по его словам, лучше и сильнее того, что записал потом по памяти с помощью всех присутствовавших.

5-го июня вечером делегатам было передано приглашение явиться в Петергоф, куда они выехали 6-го июня в 11 часов утра. На станции их ждали придворные экипажи. По прибытии в Александрийский дворец их встретил кн. Путятин и гр. Гейден, которому они вручили свою петицию для передачи государю. Затем к ним вышел бар. Фредерикс и провел их в „комнату Александра II“, где и состоялся прием.

Сережа рассказывает, что, когда царь вышел к ним, и он увидал его испуганное и взволнованное лицо и глаза („эти чудные, загадочные огромные глаза с выражением жертвы обреченной“) и нервные подергивания, ему стало страшно жаль его, жаль, как студента на экзамене, и захотелось прежде всего ободрить, успокоить его. Он невольно заговорил с ним ласковым, отеческим тоном.

Перед выходом царя депутатов много раз предупреждали, что царь не любит „речей“, и чтоб с ним избегали впасть в тон речи и говорили бы просто, В разговорной форме.

Сережа так удачно попал в „тон“ и говорил с такой горячностью и задушевностью, что старик Корф плакал, а Новосильцев и Львов говорили, что с трудом держались. Присутствовавшие рассказывают, что когда Государь вошел и встал поодаль, всех охватило чувство бездны, лежавшей между ними, но по мере того, как Сережа говорил, расстояние сглаживалось, выражение Государя стало меняться, он улыбался и поддакивал, особенно в том месте, где Сережа говорил против сословного представительства (К сожалению, это не помешало Государю ровно две недели спустя, 20-го июня, при

представлении депутаций от Курского дворянства, ратовавшего за сословное представительство, благодарить за „столь твердо и сердечно выраженные мысли“ и сказать: „Я вполне сознаю ту пользу, которую может принести в будущем законно-совещательном учреждении присутствие двух основных земельных сословий, дворянства и крестьянства“.). Государь ходил по комнате, Сережа также, сильно жестикулируя и вертясь, как он это делает всегда во время горячих споров, когда он убеждает. Привожу речь Сережи, сказанную в этот достопамятный день, дословно.

„Ваше Императорское Величество!

Позвольте выразить Вашему Величеству нашу глубокую, искреннюю благодарность за то, что Вы приняли нас после нашего к Вам обращения. Вы поняли те чувства, которые руководили нами, и не поверили тем, кто представлял нас, общественных и земских деятелей, чуть ли не изменниками престола и врагами России. Нас привело сюда одно чувство — любовь к Отечеству и сознание долга перед Вами. Мы знаем, Государь, что в эту минуту Вы страдаете больше всех нас. Нам было бы отрадно сказать Вам слово утешения, и если мы обращаемся к Вашему Величеству теперь, и в такой необычной форме, то верьте, что к этому побуждает нас чувство долга и сознание общей опасности, которая — велика, Государь!

В смуте, охватившей все государство, мы разумеем не крамолу, которая, сама по себе, при нормальных условиях, не была бы опасна, а общий разлад и полную дезорганизацию, при которой власть осуждена на бессилие.

Русский народ не утратил патриотизма, не утратил веры в Царя и в несокрушимое могущество России, но именно поэтому он не может уразуметь наши неудачи, нашу внутреннюю неурядицу. Он чувствует себя обманутым, и в нем зарождается мысль, что обманывают Царя. И когда народ видит, что Царь хочет добра, а делается зло, что Царь указывает одно, а творится совсем другое, что предначертания Вашего Величества урезываются и нередко проводятся в жизнь людьми заведомо враждебными преобразованиям, то такое убеждение в нем все более растет. Страшное слово — измена произнесено, и народ ищет изменников решительно во всех, и в генералах, и в советчиках Ваших, и в нас, во всех господах вообще. Это чувство с разных сторон эксплуатируется. Одни направляют народ на помещиков, другие — на учителей, земских врачей, на образованные классы. Одни части населения возбуждаются против других. Ненависть, неумолимая и жестокая, накопившаяся веками обид и утеснений, обостряемая нуждой и горем,

бесправием и тяжкими экономическими условиями, подымается и растет, и она тем опаснее, что вначале облекается в патриотические формы: тем более она заразительна, тем легче она зажигает массы. Вот грозная опасность, Государь, которую мы, люди, живущие на местах, измерили до глубины во всем ее значении, и о которой мы сочли долгом довести до сведения Вашего Императорского Величества.

Единственный выход из всех этих внутренних бедствий — это путь, указанный Вами, Государь, — созыв избранников народа. Мы все верим в этот путь, но сознаем, однако, что не всякое представительство может служить тем благим целям, которые Вы ему ставите. Ведь оно должно служить водворению внутреннего мира, созиданию, а не разрушению, объединению, а не разделению частей населения, и наконец, оно должно служить „преобразованию государственному“, как сказано было Вашим Величеством. Мы не считаем себя уполномоченными говорить здесь ни о тех окончательных формах, в которые должно вылиться народное представительство, ни о порядках избрания. Если позволите, Государь, мы можем сказать только, что объединяет нас, большинство русских людей, искренно желающих идти по указанному Вами пути.

Нужно, чтоб все Ваши подданные равно и без различия — чувствовали себя гражданами русскими, чтобы отдельные части населения и группы общественные не исключались из представительства народного, не обращались бы тем самым во врагов обновленного строя, нужно, чтобы не было бесправных и обездоленных. Мы хотим, чтобы все Ваши подданные, хотя бы чуждые нам по вере и крови, видели в России свое Отечество, в Вас — своего Государя, чтобы они чувствовали себя сынами России и любили бы Россию, так же как мы ее любим. Народное представительство должно служить делу объединения и мира внутреннего.

Поэтому также нельзя желать, чтобы представительство было сословным: как Русский Царь — не Царь дворян, не Царь крестьян или купцов, не Царь сословий, а Царь всея Руси, так и выборные люди, от всего населения призываемые, чтобы делать совместно с Вами Ваше Государево дело, должны служить не сословным, а общегосударственным интересам. Сословное представительство неизбежно должно породить сословную рознь там, где ее не существует.

Далее, народное представительство должно служить делу „преобразования государственного“. Бюрократия существует везде, во всяком государстве, но в обновленном строе она должна занять подобающее ей место. Она не должна узурпировать Ваших

державных прав, она должна стать ответственной. Вот дело, которому должно послужить собрание выборных представителей. Оно не может быть заплатой к старой системе бюрократических учреждений. А для этого оно должно быть поставлено самостоятельно, и между ними и Вами не может быть воздвигнута новая стена в лице высших бюрократических учреждений Империи. Вы сами убедитесь в этом, Государь, когда призовете избранников народа и встанете с ними лицом к лицу, как мы стоим перед Вами.

Наконец, предначертанные Вами преобразования столь близко касаются русского народа и общества, ныне призываемого к участию в государственной работе, что русские люди не только не могут, но не должны оставаться к ним равнодушны. Посему необходимо открыть самую широкую возможность обсуждения государственного преобразования не только на первом собрании выборных, но ныне же, в печати и в общественных собраниях. Было бы пагубным противоречием призывать общественные силы к государственной работе и вместе с тем не допускать свободного суждения. Это подорвало бы доверие к осуществлению реформ, мешало бы успешному проведению их в жизнь“.

Затем говорил кратко М. П. Федоров, всецело присоединившись „от имени городов“, к голосу Земских людей, мысль которых передал здесь князь Трубецкой.

Государь ответил:

„Я рад был выслушать Вас. Не сомневаюсь, что Вами, господа, руководило чувство горячей любви к родине в Вашем непосредственном обращении ко мне. Я вместе с Вами, со всем народом Моим всею душою скорбел о тех бедствиях, которые принесла России война, и которые необходимо еще предвидеть, и о всех наших внутренних неурядицах. Отбросьте Ваши сомнения: Моя воля — воля царская созвать выборных от народа — непреклонна. Привлечение их к работе государственной будет выполнено правильно. Я каждый день слежу и стою за этим делом. Вы можете об этом передать всем вашим близким, живущим как на земле, так и в городах. Я твердо верю, что Россия выйдет обновленная из постигшего ее испытания.

Пусть восстановятся, как было встарь, единение между Царем и всею Русью, общение между мною и земскими людьми, которое ляжет в основу порядка, отвечающего самобытным русским началам. Я надеюсь, вы будете содействовать мне в этой работе“…»

Из Записной книжки:

«Когда все речи были сказаны, государь подошел к Сереже и с особенным чувством подал и тряс ему руку. Он заговорил об

университете, спросил, можно ли рассчитывать на возобновление занятий, и выразил удивление, что „кучка“ забастовщиков терроризирует большинство желающих заниматься. Сережа возражал, что дело это не так освещено государю, что причины беспорядков кроются в общем недовольстве. А когда государь спросил, как бы он думал помочь делу, чтобы занятия возобновились, Сережа отвечал, что не может этого сказать в двух словах, но что многое можно и должно для этого сделать. Тогда государь просил Сережу составить докладную записку об университетском вопросе и представить ему ее непосредственно через министра двора бар. Фредерикса.

Затем государь обходил всех и каждому что-нибудь сказал. Новосильцеву, что тамбовцы особенно отличаются на войне, на что Новосильцев ответил, что он надеется, что и на другом поприще они докажут свою доблесть. Приблизившись к Петрункевичу, государь был заметно смущен и спросил: „У вас, кажется, есть дача в Крыму?“ Петрункевич отвечал крайне лаконично… разговор не вязался. Родичев напомнил, что он при покойном родителе государя был отстранен от должности, а ныне, по милости Его Величества, имеет честь представляться ему. Головина государь огорошил неожиданным замечанием: „Губернское Земство в Москве порядком-таки утесняет уездное земство! Я нахожу это неправильным“… Головин не нашелся, что на это сказать.

Когда депутаты вышли от государя и очутились одни в комнате, которую им отвели, все сняли фраки и мундиры, жара была страшная, и в большом подъеме духа передавали друг другу свои впечатления. Сережа рассказывает, что очень забавный контраст с ними представлял барон Фредерикс, когда в блестящем придворном мундире он пришел приветствовать их и поздравить с успехом. По приезде депутатов в Петергоф, придворные держали себя любезно, но сдержанно и им говорили: „Вы — опасную игру играете!“ После приема полная перемена картины: объятия и приветствия… Сережа жалел, что не имел фотографического аппарата с собой, чтобы снять кн. Путятина, ходившего по комнате, обнявшись с Петрункевичем, и он же целовался с Родичевым… По-видимому, Сережа был предметом особенных оваций, но неохотно об этом рассказывает, но видно, как он всем сейчас мил и дорог, как вырос еще за эти дни в общем мнении.

Раньше чем депутаты успели уехать из Петергофа, бар. Фредерикс просил их записать сказанные речи, чтоб не было затем недоразумений с газетчиками. Сережа сидел целый день, припоминая сказанное, и депутаты помогали ему. Когда он

кончил, он вручил написанное бар. Фредериксу, прося прочесть, и если некоторые выражения не так были сказаны, указать ему, и он исправит. Он просил также передать государю, что если что-нибудь не так им записано, тут может быть ошибка памяти, но что он самым добросовестным образом старался дословно все припомнить…

Только уже подъезжая к Москве, он вдруг вспомнил два места в своей речи, о которых он очень жалеет, что они выпали у него из памяти и не попали в текст, а именно — вначале он заявил царю: „Вы видите перед собой людей, убежденных в необходимости коренного преобразования государства на конституционных началах“. А затем, описывая грозную опасность положения для России и Престола, он с силою сказал: „Мы не лжем, Государь!“ и помнит, как остановился на минуту перед царем и чувствовал силу, с какой сказаны были эти слова…

Уже много позднее мне удалось найти в бумагах покойного брата следующий черновой набросок:

„Ваше Величество! Не судите нас за наше обращение. Верьте, что одна любовь к отечеству и сознание долга нашего перед Вами привели нас сюда. Мы не дерзаем считать себя представителями страны, мы только ее сыны и чувствуем то, что чувствуют теперь все русские люди — желание сплотиться, чтобы совокупными усилиями и совокупным разумом спасти Россию. Мы говорим с Вами, как с царем русским; в Престоле Вашем мы видим залог нашего единства, нашего былого и грядущего могущества. Государь! Тяжки наши поражения, но в настоящую минуту внутренняя опасность становится грознее внешнего врага и парализует силы народные.

Вся темная ненависть накопившаяся от вековых неправд“…

На этом рукопись обрывается. Этот отрывок до такой степени передает стиль разговорной речи моего брата, что мне кажется, что я слышу его голос, чего я не могу в той же мере сказать о принятом тексте его речи, которую он записывал при помощи очевидцев, незаметно для самих себя менявших его стиль. Он неоднократно при мне повторял: „Я сказал гораздо лучше и сильнее, чем записал!.. Но такая была жара, и я так устал!..“ Могло случиться, как тогда в вагоне, что сидя у себя в кабинете, ему вдруг вспомнился отрывок его подлинной речи, и он тут же его набросал.

В самый день 6-го июня С. Н. писал жене в Меньшово:

„Милая, дорогая Паша, я очень устал от жары несусветной и пишу только несколько строк. Я говорил от лица депутации и с большим успехом, довольны и депутация и Государь, который после моей речи сказал нам слова, уже вами прочитанные по

телеграммам в газетах. Эти слова, после адреса, о котором он прочитал в „Le Matin“: „Ce n'est pas une adresse, c'est une sommation“, политическое событие первостепенной важности, особенно конец: „Я верю, что с сегодняшнего дня и впредь, вы будете моими помощниками в этом деле“. (Слова, как увидим, вычеркнутые Государем на следующий день.)

Я остался, чтобы записать свою речь и передать ее завтра бар. Фредериксу, а, главное, потому что в четверг мне всё равно надо быть в Москве по делам Терского Общества…

Я здоровее, чем был в Москве, например, когда я говорил с Царем, я решительно ничего в сердце не чувствовал. Говорил я ему не речь, а простыми, разговорными словами, так мне посоветовали. Он вышел в крайнем волнении, но успокаивался всё более и более.

Внешний успех очень большой. После официального разговора Государь обратился ко мне, спросив, начнутся ли в сентябре занятия в университете, которым мешает „кучка смутьянов“. Я ответил, что университетский вопрос, для меня лично, один из самых больных, что многое можно и должно сделать для успокоения университета, прежде нежели начнутся занятия; тогда Государь попросил меня составить ему об этом записку. Ужас, как по тебе и всем вам соскучился. С четверга засяду дома. Целую. Сережа.“»

Из Записной книжки 9-го июня:

«Когда депутаты прочли переданный им текст речи государя, они были поражены изменениями, которые он в ней сделал. Он сказал им: „Моя воля — воля Царская привлечь народных представителей к работе государственной непреклонна“. И затем в конце: „Отныне я вижу в Вас моих помощников“… В записанной речи стояло: вместо „народных представителей“ „выборных людей“, а последняя фраза изменена так: „Веря вашему искреннему желанию содействовать Мне в Моей работе“…

Ковалевский, прочтя это, полетел к бар. Фредериксу и просил задержать печатание речи государя, пока она не будет восстановлена в настоящем виде. Было послано запрещение печатать речь впредь до распоряжения, и по представлении бар. Фредерикса, государь сделал поправку, но сказал, что просит не настаивать на выражении „народные представители“, так как оно не соответствовало бы выражению, употребленному в „Рескрипте“.

Когда Сережа приехал к бар. Фредериксу, чтобы передать ему свою речь, он встретил там Ковалевского, который продолжал скандалить. Сережа начал его уговаривать, Ковалевский накинулся на него: „Вы уходите с завоеванной позиции!“, —

крикнул он ему. Сережа доказывал, что между словами „выборные от народа“ или „народные представители“ нет существенной разницы.

Вероятно, все эти переговоры были переданы бар. Фредериксом царю, ибо придворные сплетни передают, что Императрица сказала: „De toute cette deputation il n'y a que Troubetzkoy, qui est un homme distingue et comme il faut, il n'a pas attaque la parole de l'Empereur“.

А. Оболенский вскоре после этого представлялся Государю, и он жаловался на последний инцидент, и на то, что его хотели — „изловить на слове“.

А. Оболенский нашелся и сказал: „Это по неопытности, Ваше Величество. В сущности, „выборные люди“ гораздо более значат, чем „представители“. Представители — что?.. Мало ли представителей от разных ведомств сидят во всевозможных комиссиях, а „выборные люди“, это другая музыка!“

Государь будто смутился от такого возражения. Он был тоже очень удивлен, что брат Сережа — племянник А. Оболенского. Он думал, что Сережа много его старше. А. Оболенский говорил, что вообще Сережа произвел самое хорошее впечатление, и убеждал как можно скорее представить записку об университете, пока впечатление на изгладилось,

Сережа был у Трепова и говорил с ним об университете. Трепов предупреждал его, что, по всей вероятности, его вызовут и даже нащупывал: не примет ли он министерство! Убеждая его в необходимости взять его, чтобы провести реформу… но в теперешние кадры правительства Сережа не вступит, Булыгинский же проект считает неприемлемым.

Вообще, несмотря на огромный общественный успех, громкую всероссийскую славу, приобретенную им за речь к государю, и бесчисленные приветствия, получавшиеся им со всех концов России, С. Н. нисколько не был опьянен этим, крайне трезво смотрел на дело и не делал себе никаких иллюзий. Он считал, что исполнил свой долг перед Царем и перед Россией и чувствовал нравственное удовлетворение от удачного выступления, и только. (См. прилож. 36).

К сожаленью, С. Н. не удалось по возвращении из Петербурга отдохнуть в Меньшове, как ему хотелось. Ему пришлось еще задержаться в Москве и по личным делам и по делам редакции „Московской Недели“, которую он решил временно ликвидировать.

15-го июня он писал брату Евгению: „Я совершенно задерган. Всего второй день в Меньшове. Собираешься ли в Москву на съезд и в Меньшово? Мне бы очень хотелось видеть тебя по случаю

записки, которую я составляю.“ Записка эта „О настоящем положении высших учебных заведений и мерах к восстановлению академического порядка“ была уже закончена 21-го июня и препровождена при письме бар. Фредериксу, который в отношении от 28 июня известил брата, что она доставлена „по Высокому назначению“».

Из Записной книжки 6-го июля:

«Брату Сереже опять пришлось ехать из Меньшова в Москву на Земский съезд, куда его вызывали. Заранее газеты извещали, что съезд запрещен, и губернаторы предупреждали делегатов, чтоб они не утруждали себя напрасной поездкой.

Однако, съезд все-таки состоялся в доме кн. Долгоруких (на Колымажном дворе) и, несмотря на рабочую пору и сильную жару, был очень многолюдный. С первого же дня явилась полиция и переписала всех присутствовавших. Появление ее только всех раздражило, и ораторы говорили речи одну радикальнее другой. Сережа говорит, что ничего нельзя себе представить утомительней подобной болтовни с претензиями на красноречие и повторением избитых мест о произволе бюрократии. Умеренные, в конце концов, не могли помешать резолюции обращения к народу, где разъяснялось значение земских съездов и депутации 6-го июня. Сережа был очень против, утверждая, что, кроме скандала, никакого прока из этого не выйдет, но его не послушали.

Радикалов подогревал Милюков, который не имел права участвовать в съезде, но в качестве знакомого (и товарища по университету старшего кн. П. Д. Долгорукого) проник на съезд и агитировал вовсю…

Решено было, однако, не бойкотировать Булыгинскую Думу, принять всё, что бы ни дали, и стараться, чтоб в Думу попало больше своих.

В конце июля по поводу этого съезда в Москву был прислан сенатор Песковский, который официально вызвал Сережу и многих других членов съезда и бюро для допроса. Он был весьма любезен и объяснил, что приехал по поручению государя для дознания: не имеется ли противоречия между речами земской депутации и задачами съезда?

Брат Сережа, Кокошкин, Головин, Петрункевич и друг. должны были составить записки. Сережа, между проч., описал там настроение общества и съезда после Цусимы… (См. прилож. 37)».

Из Записной книжки.

Вскоре после приема депутации 6-го июня в Петербурге состоялся съезд 25 губернских предводителей дворянства, на котором была принята резолюция представить государю

настоятельную необходимость не откладывать созыва народных представителей.

В записке, составленной Ю. Н. Милютиным и подписанной губернскими предводителями, в самых ярких красках описывалась смута в стране и упадок доверия общества и народа не только к правительству но и к самому царю. Решили по жребию выбрать двух из своей среды, обязав их под присягой лично прочесть записку царю и, кроме того, в разговоре по возможности высказать без утайки все то, в чем заглазно все осуждали царя… (Избраны были кн. П. Н. Трубецкой и гр. В. В. Гудович).

Припоминая подробности этой аудиенции, брат Петя (кн. Петр Ник. Трубецкой) хватался за голову в изумлении и ужасе от того, какие вещи он говорил Царю: «Вот Вы нас сегодня милостиво принимаете и соглашаетесь с нами, а завтра Вам будет представляться Доррер (Курский предводитель), и Вы и с ним согласитесь!»… Когда он сказал царю, что доверие к нему колеблется, царь, бледнея, произнес: «Я уже это слышал!»…

Взволнованы они были так, что до выхода царя их трясла лихорадка. Государь, войдя в комнату и увидав их, изменился в лице, прошел к окну и там, в амбразуре, посадив одного направо от себя, другого (Гудовича) налево, выслушал всё до конца… Припоминая выражение его лица, брат Петя не может забыть глаз, «каких-то загадочных» и с таким выражением «жертвы обреченной» и «фаталиста-мистика»… Такое же впечатление глаза эти произвели на брата Сережу, и он характеризовал почти в тех же выражениях.

Вскоре после этой аудиенции Петя уехал лечиться в Карлсбад, а в «Русском Листке» появилось «открытое письмо» к Московскому губерн. предводителю за подписью А. Г. Щербатова и Самариных с протестом, как смел их предводитель, не уполномоченный своими дворянами, «всецело присоединиться» (как было сказано в правительственном сообщении) к Земскому съезду. Вскоре затем в «Новом Времени» появилось письмо Клавдия Пасхалова и 15 других лиц, заявивших свое присоединение к протесту против кн. П. Н. Трубецкого.

Это вызвало сильную статью Ю. Милютина «Отповедь 20 дворянам», где он доказывал, что составители записки «ради собственного произвольного представления об отвлеченном самодержавии, готовы пренебречь мыслью и волею действительного самодержца».

По возвращении из заграницы брат Петр Николаевич ответил выступившим против него дворянам, но не в печати, а в форме письма, которое разослал всем своим противникам.

Одновременно с «Открытым письмом», направленным против брата Петра Николаевича, Федор Дмитриевич Самарин рассылал записку, направленную против положений, высказанных в речи брата Сергея Николаевича на аудиенции 6-го июня, где по пунктам разбирал их «несостоятельность» и несправедливость обвинения в медленном проведении возвещенных в рескрипте реформ. Он утверждал, что если б Булыгинская комиссия была построена на иных началах, и многочисленные ходатайства земств и городов о допущении их представителей в эту комиссию были удовлетворены, работа затянулась бы на гораздо более продолжительный срок.

В ответ на эти возражения Сергей Ник. поместил в «Русских Ведомостях» статью «Перед решением», которая является последней его статьей. Он указывал в ней, что самое участие в работе Булыгинской комиссии представителей земств и городов дало бы возможность не так спешить и внесло бы успокоение в стране, ибо являлось бы гарантией, что представительные учреждения и избирательный закон будут действительно соответствовать нуждам страны.

Запрещение съезда последовало по распоряжению Трепова, вопреки мнению Булыгина и представлениям Московского генерал-губернатора Козловского, который заявил, что отказывается принимать административные меры против членов съезда, и вскоре подал в отставку. После убийства гр. Шувалова, он и без того не хотел оставаться генерал-губернатором, считая себя как бы виновником его смерти, ибо он привлек гр. Шувалова в Москву. На долю бедного старика выпала тяжелая обязанность сообщить графине Шуваловой о смерти ее мужа, и он так еще был под впечатлением пережитого, и настолько этим потрясен, что не мог справиться со своими нервами и всё плакал.

Из Записной книжки 28 августа:

«В день обнародования Манифеста о Государственной Думе, 6-го августа, меня не было в Меньшове. На пути в Калугу, в вагоне, я прочла этот Манифест и пожалела, что он без меня будет получен в Меньшове. Хотя уже заранее прошел слух, что вместе с объявлением Думы, Рескрипт 18 февраля будет взят обратно, и этим самым будет положена крышка всяким съездам и собраниям, все надеялись, что это только „слух“, и что дана будет возможность так или иначе сговариваться и совещаться по вопросам о Думе. Вместо того, новая московская администрация (Медем и Дурново) заявила, что будут приняты решительные меры против незаконных собраний, так что назначенное на 11 августа совещание бюро Земского съезда пришлось из Москвы перенести в Царицыно. 21 августа совещание бюро состоялось в

Москве у Баженова, на краю города, но полиция все-таки туда явилась и требовала, чтобы все разошлись. Головин отказался исполнить это требование. После долгого разговора с Медемом по телефону, полицеймейстер ввел полицию, которая сидела до окончания совещания, составив после протокол, что оно не носило противоправительственного характера.

Одновременно у Новосильцевых был съезд „чистых конституционалистов“, где был и брат Женя. Туда тоже явилась полиция и, составив протокол, отобрала имевшиеся там бумаги. (20 августа в Меньшово приезжал сын Н. О. Ключевского с известием, что Милюков арестован, и с просьбой к Сереже похлопотать за него а также выручить бумаги В. О. Ключевского, которые случайно находились у Милюкова и забраны вместе с ним.

На этом обрывается запись в моей записной книжке. Все последующее изложено мною по личным воспоминаниям, написанным позднее, а также по письмам и другим источникам.)

Вернулись братья в Меньшово вне себя от всех этих нелепых действий администрации, и тут Сережа решил написать письмо Трепову, умоляя его очнуться и не вводить полицию на профессорский съезд, который должен был собраться 25 августа. В проливной дождь и бурю он послал нарочного из Меньшова в Москву с тем, чтоб он обязал начальника станции Николаевского вокзала доставить нужное письмо Трепову в Петербург. Это было 23 августа, а 25-го брат Женя по приезде в Москву узнал, что съезд разрешен, и на этом съезде торжественно приветствовали возвращение Максима Ковалевского. Проф. Вернадский телефонировал княг. Прасковье Владимировне, которая была у своей сестры в Узком, что подъем духа большой, так как из достоверного источника проник слух, что Университету будет дана автономия.

На другой день княг. П. В. вернулась в Меньшово с депешей от Трепова к брату Сергею: „Потерпите несколько дней, надеюсь, будете удовлетворены сделанным“.

Вчера, 27 августа получили газеты с правительственным сообщением о даровании Университету автономии!.. Это первая реформа, полная, без полумер; дано всё, о чем просили, и дано совершенно неожиданно!

Еще на прошлой неделе печаталось о проекте Тихомирова, придававшего еще более полицейскую окраску университетскому режиму. В самом министерстве были предположения о полном разгроме университетов, увольнении всех учащихся и профессоров. Чем вызван такой поворот?

Сережа отправил свою Записку Государю еще в конце июня, и

с тех пор не имел ни малейшего представления о впечатлении, которое она произвела. Копию с этой записки он препроводил Трепову и Манухину. Теперь, неожиданно, все исполняется по его желанию и по мыслям, высказанным в этой Записке…

Немедленно вслед за появлением правительственного сообщения о введении в Университете временных правил, все заговорили о кандидатуре С. Н. на должность ректора университета.

А. А. Лопухин (от 2 сентября 1905 г.) писал по этому поводу С. Н.

„Дорогой Сережа! Через два дня по получении твоего письма, в котором ты пишешь, что не знаешь, как сложится твоя жизнь, я прочел в газетах известие о возможности выбора тебя на должность ректора. Очень желал бы этого для тебя. Не столько с точки зрения устройства жизни, сколько необходимости для тебя пройти через службу в целях административного опыта. Нельзя тебе, по теперешним временам, отдаваться только кафедре и партийной деятельности. Скоро нужна станет твоя служба более широкая, чем ректорство, а она без предыдущего опыта на меньшем поприще — очень трудна.

Возможно ли тебе ректорство по состоянию твоего здоровья? В дополнение того, что ты пишешь об отношении Трепова и других властей к вашей организации, мне много рассказывал Львов (кн. Георгий Евг.), которого я видел в Петербурге 26 августа. Кое-что слышал и от бывших сослуживцев… Между прочим, от них узнал, что оставление вас без судебного расследования за ваше „обращение к населению“ отстоял Манухин, который поставил этот вопрос, как вопрос оставления в его руках министерского портфеля. С точки зрения принципа, конечно, такое разрешение дела в вашем „преступном сообществе“ — хорошо, но для вас, пожалуй, лучше было бы, если б вас попробовали привлечь. В результате, заступничество за вас, кажется, будет стоить Манухину портфеля, так как появились толки об его уходе и заступлении его бар. Нольде. Впрочем, вопрос об отдельных переменах министров вопрос теперь праздный, так как вопрос об учреждении кабинета солидарного, составляемого одним министром, решен окончательно, и потому на все вопросы, что будет правительство делать, и кто будет это правительство, все люди осведомленные отвечают: что все зависит от того, какое положение займет Витте после возвращения, так как все уверены, что премьером будет он. По-видимому, в Петербурге не сознают, что Гос. Дума не может не начать своей деятельности с запроса об исключительных административных полномочиях и, главное, о порядке их

применения, т. е. с запроса о Трепове. Никто ни его полномочий, ни его политики менять не собирается, и борьба не с революционерами, а с теми, на кого правительство должно было бы теперь опереться, будет не только продолжаться до самой Думы, но, думается мне, будет всего сильнее в период выборов в Думу.

Правительство бессознательно открыло двери людям для него самого наиболее опасным и закрыло их перед людьми порядка. Оно своим поведением во время выборов сделает из Думы революционный комитет. Результаты Булыгинского творчества у нас сказываются: творчество это сопровождалось таким невежеством, что при составлении положения о выборах была забыта всесословность нашей волости, и потому даже крестьяне у нас не выберут крестьянина, а выберут одного из начавших приписываться к волости политических хулиганов, те же результаты могут дать и другие съезды. Если повсеместно так, то нельзя рассчитывать, чтобы Дума не была очень скоро распущена“».

ГЛАВА ПЯТАЯ

1-го сентября, к вечеру, брат Сергей Николаевич выехал из Меньшова в Москву и прямо с поезда проехал к Николаю Васильевичу Давыдову, у которого в это время собралось несколько человек профессоров: В. И. Вернадский, П. И. Новгородцев, А. А. Мануйлов, Б. К. Млодзеевский, М. К. Спижарный, А. Б. Фохт и В. М. Хвостов.

Н. В. Давыдов рассказывает, («Голос Минувшего» 1916 г.) что С. Н. долго не приезжал, так как поезд почему-то опоздал.

«Раздался звонок у входной двери: было ясно, что это — Трубецкой; все мы примолкли и в великом волнении ждали его появления, а когда он вошел, то все, не сговариваясь, по какому-то общему неудержимому побуждению, встретили его аплодисментами».

На следующий день состоялись выборы: в результате оказалось, что С. Н. получил 56 избирательных и 20 неизбирательных шаров. В ответ на шумные, долго не смолкавшие аплодисменты и приветствия С. Н. сказал:

«Вы оказали, господа, мне великую честь и возложили на меня великую обязанность, избрав меня ректором в такой тяжелый и трудный момент. Я высоко ценю эту честь и понимаю всю возлагаемую на меня ответственность и сознаю все трудности, выпадающие на мою долю. Положение в высшей степени трудное, но не безнадежное. Мы должны верить делу, которому служим. Мы — отстоим университет, если мы сплотимся. Чего бояться нам? Университет одержал великую нравственную победу. Мы получили разом то, чего ждали: мы победили силы реакции. Неужели бояться нам общества, нашей молодежи. Ведь не останутся же они слепыми к торжеству светлого начала в Университете. Правда, все бушует вокруг… волны захлестывают: мы ждем, чтоб они успокоились. Мы можем пожелать, чтобы разумные требования русского общества получили желательное удовлетворение. Будем верить в наше дело и нашу молодежь. Та преграда, которая нам раньше мешала дать молодежи свободно организоваться и войти с ней в правильные сношения, теперь пала. Тот порядок, который нельзя было ранее осуществить, получил возможность осуществления. Мы должны осуществить его совокупными нашими усилиями. Нам надо быть солидарными и верить в себя, в молодежь, и в святое дело, которому мы служим!

Я прошу, я требую от вас деятельной мне помощи. Совет ныне есть хозяин Университета!»

Гром несмолкаемых рукоплесканий, совершенно необычных в деловых светских заседаниях, был ему ответом.

«Все были потрясены до глубины души, вспоминает П. Новгородцев, (Вопросы Философ. и Психолог. 1905 г. № 1.) и подходили к нему, чтобы поблагодарить, пожать руку и сказать, что верят, как и он, в светлые дни университета, в силу товарищеской солидарности и любви молодежи. Но то, что говорил он об университете, не говорил ли он обо всей России?.. И разве он не имел основания так говорить?..

Ни для кого не тайна, что требования университетов были удовлетворены только благодаря его нравственному влиянию. Как же мог он не верить в силу светлого начала по отношению ко всей России? И тут он верил, что общее примирение возможно, и другие верили вслед за ним. Верили в то, что он найдет и скажет такие слова, которые всех убедят, перед которыми смирится и всемогущая власть и бушующая народная стихия».

О том, что Сережа выбран ректором, я узнала в Туле, перед отъездом в Ялту, из газеты. Помню, я вскрикнула невольно, прочтя это известие, и сказала, что смотрю на это назначение, как на смертный приговор, что не по силам это Сереже, что он серьезно болен…, и все-таки, конечно, я далека была от мысли, что конец так близок.

Всё лето он страдал приливами к голове и какой-то особенной тошнотой. Лицо у него постоянно было красное и глаза красные с каким-то особенно «склерозным» блеском.

Помимо напряженной работы по университетским и общественным делам, весь последний год его сильно удручало положение его собственных дел: он не знал, как свести концы с концами. А, главное, он ясно сознавал, в какую бездну мы летели…

Помню, как однажды, вернувшись из Москвы, утомленный и измученный, он в какой-то тоске метался по комнате, кидаясь то на диван, то на кресло, с какими-то стонами. На мой вопрос: «Что с тобой?» он, с ужасной тоской во взгляде, ответил: «Я не могу отделаться от кровавого кошмара, который на нас надвигается».

Я с испугом всматривалась в его лицо, выражавшее ужас, отвращение и глубокое страдание.

Кошмары преследовали его по ночам. Помню один сон, о котором он не раз рассказывал при мне всегда с одинаковым мистическим ужасом… Он видел себя ночью на вокзале, с чемоданом, у столба платформы в ожидании поезда. Горели фонари, и при свете их он видел огромную толпу, которая спешила мимо него. Все знакомые, родные лица, и все непрерывно двигались в одном направлении к огромной, темной

бездне, которая — он знал — там, в этой зале, куда все спешат и стремятся, и он не в силах им этого сказать, их остановить…

Из Ялты я выехала 15 сентября и 17 вечером вернулась в Москву и остановилась на Поварской, в квартире Ф. Д. Самарина, так как у нас в доме шел ремонт. Сережа заехал ко мне повидаться и расспросить о моей поездке.

Боже мой! Как он был жалок, как утомлен, утомлен почти до прострации!.. Лежа и прерываясь, он рассказывал мне о всех событиях, без меня бывших, и все повторял: «До чего я устал, до чего я устал!…»

Около 1 час. ночи он встал, чтобы ехать на Знаменку, где остановился у брата Пети, и мы распростились… Состояние его произвело на меня удручающее впечатление, но могла ли я предположить, что больше его не увижу в живых, что мы навеки простились?

На другой день я уехала в Меньшово. События в университете шли таким темпом, что было ясно, что дело клонится к его закрытию. Дарование автономии не отразилось на настроении студенчества в смысле успокоения. Вопросы академического характера совершенно уже не интересовали его. Революция бушевала на улице, и университет отражал в себе настроение масс.

По газетам, доходившим еще до Меньшова, ход событий в университете представлялся в следующем виде:

19 сентября с 10 час. утра юридическая аудитория стала наполняться студентами, среди которых в значительном числе находилась и посторонняя публика, преимущественно женщины. Через час не только аудитория, но и почти весь коридор были переполнены. В аудиторию, часам к 11, явился помощник ректора А. А. Мануйлов, встреченный громкими рукоплесканиями. Когда восстановилась тишина, Мануйлов обратился к присутствовавшим с речью, в которой указал на недопустимость устройства сходок в аудиториях в те часы, когда в них должны происходить лекции; участие же в сходках посторонних лиц превращает их в митинги, разрешение которых выходит из компетенции университетских властей. Считая такие действия «насилием над университетом и студенчеством», А. А. Мануйлов протестует против этого и апеллирует к чувству порядочности студенчества и к общественному мнению страны.

Речь эта вызвала шумные рукоплескания одних и резкие свистки других. Сходка, однако, продолжалась весь день до позднего вечера.

21 сентября, в 8-м часу вечера, в юридическую аудиторию снова начался наплыв массы посторонней публики. Собралось

около 3-х тысяч человек, занявших несколько аудиторий и столпившихся тесной массой в коридорах, на лестнице и в швейцарской. Когда занятых помещений оказалось недостаточно, собравшиеся проникли в некоторые запертые аудитории… Тогда, в виду опасности, с которой были сопряжены такие собрания, как для университета, так и для самих участников, Совет Московского университета, под председательством С. К. признал необходимым временно закрыть университет.

На следующий день на Моховой у университетских ворот стали собираться студенты, и когда С. Н. подъехал к университету, их собралось уже несколько сот человек.

На просьбу студентов разрешить им собраться в одной из аудиторий для обсуждения создавшегося положения, С. Н. ответил согласием, но под непременным условием недопущения в университет посторонней публики. В юридическую аудиторию собралось 700–800 чел. студентов, к которым около 2-х час. дня вышли С. Н. и Мануйлов. Появление их было встречено дружными рукоплесканиями. С. Н. вошел на кафедру и обратился к студентам с речью.

Повторив сказанное раньше А. А. Мануйловым о недопустимости сходок в аудиториях в часы лекций и с участием посторонних лиц, С. Н. сообщил, что во время вчерашнего митинга в аудиториях Московские власти вызвали в манеж войска, которые должны были прибегнуть к действию оружием, если бы участниками был нарушен внешний порядок. При таких условиях, исключающих возможность правильных занятий и представляющих угрозу для безопасности самых участников сходок, Совет признал необходимым временно закрыть университет. Если же явления, подобные вчерашнему, будут продолжаться, это приведет к разгрому университета, и ответственно за это будет студенчество… Заканчивая свою речь, С. Н. сказал:

«Помните, что отныне Совет автономен. В прежнее время от нас требовалось иногда, чтобы мы читали вам лекции при всяких условиях, и вы первые протестовали против таких требований. Помните, что если вы нарушением постановлений Совета можете привести к закрытию университета, вы не можете заставить автономный Совет открыть его и читать вам лекции при таких условиях, которые он считает несовместимыми с достоинством университета, и при которых не существует никакого обеспечения внутреннего порядка и самой внешней безопасности университета.

Как общественный деятель, я подвергался многим нареканиям, и при том с противоположных сторон, но одно вы

знаете, что за безусловную свободу общественных политических собраний я стоял всегда и везде: в печати, в постановлениях той партии, к которой я имею честь принадлежать, и перед лицом самого Государя, и тем не менее я скажу вам здесь, не только как ректор и профессор, но как общественный деятель, что университет не может и не должен быть народной площадью, как народная площадь не может быть университетом, и всякая попытка превратить университет в такую площадь или превратить его в место народных митингов, неизбежно, уничтожит университет, как таковой. Помните, что он принадлежит русскому обществу, и вы дадите ответ за него.»

Речь эта, сказанная с необычайным душевным подъемом, вызвала гром долго несмолкавших рукоплесканий. Вместо скандала, которого многие опасались, студенты устроили своему ректору овацию… То была большая моральная победа, которую Совет Московского университета оценил по достоинству и вечером того же дня в свою очередь сделал ему овацию…

Можно себе представить, каково было С. Н. идти на закрытие университета, но другого выхода не было. Беспорядки в Москве усиливались. С. Н. решил ехать в Петербург хлопотать о разрешении студентам собираться где-нибудь вне стен университета: он надеялся, что, открывши отдушину в другом месте, он оттянет от университета постороннюю публику.

Вдобавок к своему болезненному состоянию и крайнему переутомлению С. Н. еще простудился. В таком состоянии ему приходилось посещать студенческие сходки и бывать в Совете университета. Он уставал до изнеможения и, возвращаясь домой, кидался на диван, хватая книжку А. Дюма, «Joseph Balsamo», которую взял у меня и зачитывался ею, говоря, что это лучший отдых для головы, иначе мысли и думы еще пуще одолевают.

Последнее время им овладело особенное нервное возбуждение и в университете замечали, что он не мог говорить спокойно, без глубокого внутреннего волнения. Наконец, уступая просьбам Прасковьи Владимировны, он перед отъездом в Петербург решил объявить о своем нездоровьи. Тотчас в одной из Московских газет появилась язвительная заметка, что «ректор кстати заболел». С. Н. вознегодовал на этот несправедливый и столь недоброжелательный укор и, так как в газетах то и дело появлялись всякие непроверенные и вредные для дела слухи, он решил положить этому конец, поместив в газете «Слово» «Письмо в редакцию», которое является последним его печатным словом. В нем он обращался к органам печати с просьбой «относиться с особенной осторожностью к сообщаемым слухам о том, что происходит в стенах высших учебных заведений, которые

переживают столь трудное и тревожное время».

Сережа уехал в Петербург 28, а Паша, проводив его, 29-го к обеду приехала в Меньшово.

Паша поражала своим бодрым видом и оживлением. Несмотря на беспокойство о здоровьи Сережи, она надеялась, что после Петербурга он отдохнет немного, а, главное, ее радовало общее участие и любовь в Сереже, которое, казалось, росли с каждым днем. Чувствовалось глубокое удовлетворение, что вот, наконец, оценили человека!

Мы поздно засиделись с ней, она мне рассказывала о всем, что было после моего отъезда, и что творилось в Москве последние дни. Разошлись мы спать очень поздно. Паша это лето жила внизу, чтобы Сереже не ходить по лестнице, да и внизу было прохладнее в жару и больше воздуха. На дворе бушевала буря с дождем и ветром. Я долго не могла заснуть от порывов ветра с дождем, который хлестал в окно, и только стала задремывать, как услыхала страшный стук в дверь буфета. Я с испугом вскочила. Стучали так, что, словно, дверь ногой вышибали…

Анна Васильевна тоже вскочила и уже спускалась вниз, и я с тревогой ждала ее возвращения. Она вернулась с известием, что приехал урядник, а с ним княгиня Александра Владимировна. (Сестра кн. Прасковьи Владимировны и жена брата Петра Николаевича.) Не успела она договорить, как я услыхала громкий звук голосов у подъезда и страшный, душу леденящий крик… от которого разом проснулся весь дом, и все высыпали в коридор с вопросом; «Что случилось?»

Стали стучать в дверь подъезда. Я накинула платье и опрометью бросилась вниз. В голове путалось… я думала: не арестовали ли Сережу… Почему урядник?

Роман уже отворял дверь, и в переднюю вместе с бурей ворвалась Татя с криком: «Скорее! Скорее! Собирайте Пашу! С Сережей нехорошо. Ей нужно сейчас ехать! Мы сейчас же должны ехать, чтобы поспеть к поезду! Дороги невозможные, мы не доедем до утра. Скорее, скорее!..»

Я бросилась к Паше. Она, бедная, металась, хватая все нужные предметы и бросая их в мешок. Разбуженная стуком и звуком подъехавшего к крыльцу экипажа, она высунулась в форточку, и Татя тут же ей сказала, что с Сережей плохо… в ответ на что и раздался тот ужасный вскрик!

Невозможно описать и передать ужаса этих минут. Я побежала наверх, чтобы предупредить детей и сказать, чтобы они шли вниз проститься с Пашей. Не забуду бедного Владимира (Младший сын С. Н.) в длинной белой рубашке, который стоял в проходной комнате с огромными, исполненными смертельного

ужаса глазами: зубы у него буквально стучали.

Сборы Паши длились минут 10, не больше… Мы сговорились, что на другой день я с детьми и фрейлейн выеду в Москву, а там уже видно будет, ехать ли дальше. Людям поручили убрать дом и переехать в Москву как можно скорее.

Татя сообщила нам, что им на Знаменку по телефону из Петербурга дали знать, что с Сережей во время заседания у министра сделалось дурно, что его вынесли на руках в соседнюю комнату, и доктора признали, что с ним удар, и положение очень серьезное, но что его перевезли в клинику Елены Павловны. Она немедленно собралась ехать за Пашей, но так как погода и в Москве бушевала, брат Петя телефонировал в Подольск исправнику с просьбой, чтоб он озаботился насчет лошадей и встретил Татю на станции. Ночь до того была темная, что исправник отрядил урядника провожать Татю.

Известие, что Сережу перевезли в клинику очень меня встревожило. Да и с первой минуты у меня как-то иллюзий не было, и я не надеялась. До отъезда Паши мы избегали друг на друга смотреть, но, когда наступила минута прощанья, я никогда не забуду ее взгляда — он ясно мне сказал: «Ты понимаешь, что все кончено»… Я чувствовала, что и в моих глазах она прочла то же. Не знаю, как дожила я до утра.

В Москве пришлось все-таки остановиться на Знаменке у брата Пети, так как квартира наша все еще не была готова. Нас встретил В. П. Трубецкой в ужасно подавленном, растерянном состоянии. На вопросы мои он отвечал уклончиво, что он все звонит по телефону и ни от кого ничего толком узнать не может, но что положение, по-видимому, угрожающее. Я позвонила к Кристи и от сестры Мани узнала…

Дети бедные совершенно оцепенели… Меня захлестывало горе и за них и за себя и за Пашу и за всех отсутствовавших близких.

Желающих ехать в Петербург оказалась такая масса, что мы с трудом раздобыли себе билеты. Приехали утром, и я, оставив детей с Пашей, отправилась в церковь при клинике, где лежал Сережа.

Невыносимо тяжело было то, что мы как бы потеряли свои права на него. Всё время битком набитая церковь. У гроба постоянное почетное дежурство от студентов Петербургского университета: отношение молодежи, с любовию и благоговением окружавшей его гроб, было трогательное, но мы с трудом выговорили себе один час, чтобы помолиться наедине у гроба.

Паше пришлось согласиться на вскрытие тела, ибо среди молодежи упорно держался слух, что его отравили, и многие и по

сие время в этом убеждены. Нам, близким, такая мысль и в голову не приходила: до такой степени ясно было, что Сережа погиб от своего собственного сгорания… Последние события в университете доканали его надорванные силы.

О последних часах жизни С. Н. нам рассказали следующее:

Приехав в Петербург утром 29 сентября, Сергей Николаевич тотчас же отправился к министру, был им принят и больше часа рассказывал о последних университетских событиях. Ему было поручено Советом Московского университета ходатайствовать о немедленном разрешении вопроса о праве собраний для всех граждан, чтобы вывести митинги из стен университета, при наличии коих занятия были немыслимы.

Глазов очень внимательно его выслушал и просил принять участие в заседании комиссии по выработке университетского устава. Вышел он от Глазова, по словам очевидцев, очень усталый и взволнованным голосом сказал: «Много дела в Москве, очень устал, да и не удается все сделать, как бы хотелось»… На этом его прервали и опять пригласили к министру. Совещание комиссии было посвящено рассмотрению тех пунктов устава, где говорилось о студенческих организациях. С. Н. пришлось много говорить, давать подробные разъяснения, оспаривать редакцию некоторых положений.

Было уже около 7 час., когда Глазов, обратив внимание на крайнее утомление С. Н. и на то, что он говорит уже упавшим голосом и не совсем внятно, предложил закончить заседание. Тут он сделал движение, чтобы вручить министру несколько прошений студентов Варшавского университета о переводе их в Московский, причем сказал: «Карман мой полон такими прошениями… Да, они будут довольны, они успокоятся»…

На этом вдруг с ним сделалось дурно, он моментально побледнел, откинулся на спинку стула и, казалось, потерял сознание…

По рассказам всех присутствовавших при этом, все страшно растерялись и, не зная что предпринять, почему-то вынесли С. Н. из кабинета и уложили на диван в соседней комнате. Первую помощь ему оказал Лукьянов (товарищ министра). Затем по телефону стали вызывать докторов, затребовали карету скорой помощи. Первое время С. Н. словно пришел в себя и понимал и говорил. Но все запомнили только одну его фразу, которую он сказал вполне ясно и отчетливо: «Позовите Княгиню. Я в кабинете брата»…

По этим словам, однако, видно, что сознание у него было затемненное, и он воображал себя в Москве, на Знаменке, у брата. После этого он стал бредить, и все думали, что он без сознания.

Однако, когда Г. Кристи приехал и нагнулся над ним, он узнал его и, морща шутливо брови, произнес: «Строгий администратор!»…

В 9 час. вечера его в карете скорой помощи перевезли в Еленинскую клинику, где собрался консилиум врачей, но все усилия их были тщетны: в 11 час. ночи он, не приходя в сознание, скончался.

Смерть эта произвела на всех ошеломляющее и потрясающее впечатление и вызвала небывалое проявление всеобщего, можно сказать, всенародного горя и скорби. Не только студенчество, земские люди и общественные деятели, но и торгово-промышленные круги, рабочие, купечество, крестьянство — вся Россия делила наше горе. Кроме телеграмм со всех концов, печатавшихся целыми столбцами в газетах и полученных университетом, сотни телеграмм и писем сыпались от незнакомых нам лиц по адресу семьи и вдовы покойного.

Какой-то необычайный порыв объединил в тот миг людей самых противоположных убеждений, направлений и взглядов. Черта эта была отмечена его друзьями. Лев М. Лопатин в своем надгробном слове о нем сказал:

«Укажу еще на полное отсутствие в нем какого-нибудь тщеславия… Он одинаково прост был, одинаково сердечен и тогда, когда был увлекающимся студентом, и когда достиг славы и всеобщего признания. Даже люди совершенно другого склада, далекие ему по духу, отдавали ему должное».

«Среди общей переоценки ценностей, — писал П. Н. Милюков, — среди ломки имен и репутаций он был и остался цельным, неподкупным, незапятнанным и честным. Этот ни перед кем не искал и ни к чему не приспособлялся. Там, где светило ему убеждение, где он видел ясно свою цель и свой долг, он смело шел вперед, шел на всякое положение, даже затруднительное, даже двусмысленное, ни минуты не думая о себе, а только о деле. И он мог быть уверен, как и все другие верили вокруг него, что ни при какой житейской конъюнктуре ни одна соринка клеветы не прикоснется к его честному имени.

Кн. Трубецкому это исключительное положение досталось недаром: он заплатил за него дорогой ценой. Мягкий и почти женственный по натуре, одаренный необыкновенно деликатной и хрупкой психической организацией, он становился твердым, прямым и смелым, когда дело шло об исполнении общественного долга. Отвлеченный мыслитель, почти мистик по умственному складу, он самоотверженно нес на себе непривычные и тяжелые доспехи бойца. Чувствительный к тончайшим оттенкам личных отношений, он всей грудью обновился под удары общественной

критики. Но чего стоила ему вся эта твердость и стоицизм, знают все, кто имел счастие в последнее время ближе знать покойного.

Яркой вспышкой, торжественным заключительным аккордом его смерть запечатлела особенности его личности и взятой на себя общественной роли».

А близкий друг Сергея Николаевича, знавший его с юных лет, Лев Мих. Лопатин писал:

«Это был человек необыкновенно простой, детски ясный, чистый и жизнерадостный и в то же время глубокий и чрезвычайно чуткий ко всему, что в жизни есть самого важного, строгого и серьезного. Его философия воплотила в себе эти высокие черты его характера. Он не мог видеть мечту в том, что было для него самым главным на свете. Он не мог жить, не веря в глубокий смысл жизни, от этого в его глазах Бог, нравственная правда и бессмертие не были пустыми мечтами. Такое религиозно-философское обоснование миросозерцания С. Н. сообщало твердость и устойчивость его общественно-политическим идеалам, а своей задушевной, увлекательной искренностью он умел заражать своих слушателей и зажигать их своей верой, просвещенной любовью к родине и всему высокому и прекрасному. И ему верили, как человеку, и за ним шли, как за вождем». («Русские Ведомости», 1905 г., № 260, «Памяти Кн. С. Н. Трубецкого»).

Провожать его гроб до Николаевского вокзала стеклось такое несметное множество народа, что ни до ни после мне никогда в жизни не приходилось видеть такой толпы: казалось, весь город высыпал на улицу. Но и до похорон, как только весть о кончине его разнеслась по городу, вся улица перед клиникой была запружена народом, и в церковь можно было проникнуть с трудом и только по очереди: панихиды совершались непрерывно, и пел огромный студенческий хор.

Вынос тела на Николаевский вокзал состоялся 2-го октября. Перед самым выносом гр. Гейден (флигель-адъютант) возложил венок от Государя из белых орхидей с лаврами; это произвело на всех хорошее впечатление и как бы увенчало общенациональное выражение скорби и дани уважения.

Венков нельзя было сосчитать, и были между ними с трогательными надписями: «От простолюдинов», «От крестьян Рыбацкой слободы», «От неизвестных», «Незабвенному гражданину, борцу за высокие идеалы» и т. д. От Московского университета — дивный серебряный лавровый венок с надписью: «Своему излюбленному ректору и славному гражданину С. Н. Трубецкому Московский университет». Венок привезла депутация в составе четырех профессоров: В. О. Ключевского, А. С.

Алексеева, Д. Н. Зернова и Н. А. Умова. Была депутация и от московского студенчества с венком. Вообще депутаций было множество и впервые после долгих лет венки было разрешено нести на руках. Впереди гроба и по бокам шли шпалерами студенты и курсистки, они же составляли цепь вокруг гроба и депутаций, следовавших сзади. Все это представляло величественное зрелище.

Но похороны эти, которые у многих остались в памяти, как светлое проявление единодушия, сплотившего всех, без различия, в едином порыве, для нас, близких, были слишком потрясающими. Толпа угнетала, не давала возможности молитвенно сосредоточиться. К тому же, несомненно, что к искренно скорбевшим примешивались люди, которые желали использовать момент для манифестаций. Были страхи и за враждебные демонстрации со стороны черносотенцев (За последний месяц брат С. Н. получал много анонимных, угрожающих писем и предупреждений.). Нас предупреждали, чтоб мы не пугались и не поддавались панике, а старались бы не отставать от гроба, что могут быть и выстрелы и попытки произвести замешательство и беспорядки. Особенно волновался Г. И. Кристи, уговаривая свою жену не идти за гробом. Она и сестра Осоргина не решились идти и проехали кружным путем на Николаевский вокзал в приготовленный для нас вагон. Студенты просили полицию доверить им охрану порядка на похоронах, ручаясь, что все пройдет благополучно. Ответственность они на себя взвалили колоссальную и, надо признать, поразительно с ней справились.

Настроение в общем было страшно нервное и напряженное, на всех больших перекрестках, где особенно много было народа, жутко и страшно было, что цепи не сдержат масс, желавших примкнуть к процессии. Кроме толпы, которая сплошной рекой текла по улице, все дома сверху донизу были полны зрителей, толпившихся у окон; даже крыши были унизаны народом, и люди висели гроздями на фонарных столбах. Малейшая паника могла вызвать невероятную давку и катастрофу.

Пение «Вечной памяти» и «Со святыми упокой» чередовалось иногда с пением похоронного марша: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Пение этого мрачного марша как-то накаляло атмосферу… Подошли к воротам товарного вокзала; к нам подбежал кто-то предупредить, чтобы мы подтягивались к гробу, ибо как только пройдут родственники, ворота закроют.

Мы заторопились, но, когда мы были в трех-четырех шагах от ворот, их стали запирать. Толпа ринулась вперед, и раздался ужасный крик: «Раздавили! Раздавили!» — очевидно, кто-то упал.

Меня страшно стиснули. Раздались крики: «Что делаете, сумасшедшие… Народ весь передавите!»…

Ворота приотворили: они были глубокие со сводами, и мы с Мишей очутились внутри, но вуаль моей шляпы защемили и меня потащило назад. Толпа, врывавшаяся за нами, сбила меня с ног, и я упала на спину под ноги толпы… Это был миг только, но ужасный; казалось, словно темные волны надо мной смыкаются, и я опускаюсь на дно, было даже что-то притягательное в этом чувстве, но вместе с тем словно громкий голос властно сказал во мне: «Не теряй сознания, а то ты погибла».

В тот миг, как я падала, страшный, истерический крик в толпе: «Раздавили, раздавили!» — спас меня. Толпа невольно подалась назад, и этим мгновением воспользовался мой племянник М. Осоргин и какой-то еврей, очутившийся рядом: они ловким движением разом подхватили меня и выволокли из ворот.

За воротами продолжались истерические крики, смятение и раздался одинокий выстрел… Страх, что похороны Сережи подадут повод к стрельбе и кровопролитию, все время меня преследовал, к счастию, все ограничилось одним выстрелом. Но все-таки чаша переполнилась. У меня сделалась такая слабость и сердцебиение, что хотелось тут же лечь и никуда не двигаться. А вместе с тем толпа нарастала, найдя себе какой-то окольный путь к платформе, где стоял поезд. Народ начал вскакивать на крыши вагонов: власти волновались и хотели скорее отвести вагон в поле. Меня стали торопить: пришлось встать и идти. М. Осоргин побежал предупредить, чтоб без меня не уезжали. Мой добрый еврей провел меня под руку сквозь плотную массу народа, повторяя одно: «Сестра покойного князя, дайте дорогу», и эти слова прорубали нам коридор сквозь толпу. Мы благополучно добрались. Когда меня втащили на площадку вагона, и я обернулась, чтобы поблагодарить моего спасителя — он уже исчез, и я никак не могла себе простить, что не узнала его имени.

Все мы очень волновались, чтобы по отходе поезда собравшаяся толпа не учинила бы беспорядков, и Прасковья Владимировна просила П. Глебова, который оставался в Петербурге, известить ее по телеграфу о том, как окончится день. Он прислал успокоительную телеграмму. К сожаленью, беспорядки, хотя и незначительные, все-таки были, но при таком стечении народа можно было только благодарить Бога, что все так благополучно обошлось. В Москве нас встретили новые толпы народа и новые депутации с венками. На вокзале были все профессора Московского университета с Мануйловым во главе, брат Петя с депутацией от дворянства и много других депутаций.

В церкви, благодаря принятым мерам, не было особой

тесноты, и все было убрано растениями. Гроб стоял между огромными пальмами, и служба была необычайно торжественная. Евангелие дня было:

«Пшеничное зерно не оживет, аще не умрет»… Слова эти так знаменательно звучали и, казалось, исполнены особого смысла по отношению к этой смерти.

Отпевание кончилось около 2-х час. дня… Гроб вынесли из церкви братья и профессора Московского университета, а на улице приняли студенты и несли его на руках до самого Донского монастыря. Когда двинулись в путь, пение «вечной памяти» и «Со святыми упокой» огромного хора студентов поминутно прерывалось и путалось с пением похоронного марша. Духовенство возмущалось, и священник заявил, что, если так будет продолжаться, он не будет провожать гроб, ибо не может допустить, чтобы похороны превращались в политическую манифестацию. Я вполне его понимала и, собрав последние силы, подошла к цепи студентов и сказала: «Я сестра покойного князя Сергея Николаевича и убедительно прошу вас всех от имени семьи, если вы действительно хотите почтить память покойного, не пойте больше похоронного марша, а пойте „Вечную память“, и передайте эту просьбу нашу по цепи вашим товарищам»…

К чести студенчества, просьба моя была уважена, но, дойдя до первого переулка, я поняла, что дальше идти не могу и свернула в него. М. Осоргин, который был опять со мной, проводил меня до дому.

А наши все вернулись с кладбища только в 10-м часу вечера. Процессия подошла к Донскому только к 6 час. В монастыре, еще до прибытия процессии, скопилась масса народу, так что за гробом пустили только членов семьи и депутации. Когда подошли к могиле, было так темно, что пришлось уже зажечь фонарь, при слабом свете которого начались надгробные речи…

ПРИЛОЖЕНИЯ

Письма, статьи, речи С. Н. Трубецкого и другие материалы

ЧАСТЬ I

К ГЛАВЕ 1-й.

Приложение 1.

Письмо С. Н. брату Евгению, апрель 1892 г.:

«Что сказать тебе о Рязани? Конечно, я нашел там вовсе не то, что ожидал, и это во многих отношениях. Голод есть, но он, без сомнения, был раздут: спасти от голодной смерти можно было бы и с гораздо меньшими средствами. Зато нужда общая, хроническая и прогрессирующая нужда, нужда во всем самом необходимом — в хлебе, в воде, в дровах, платье, — не только не преувеличена, но недостаточно оценена и понята. — Разорение глубокое было причиною нынешного голода и благодаря бездействию правительства и полному отсутствию общественной организации, оно в этот год расширилось и разрослось внезапно, как лесной пожар. Кончаешь зимний сезон с другим чувством, чем то, которое было осенью. Тогда был ужас, страх перед катастрофой, сознание наступающего конца, — я ехал в Рязань с таким чувством. Теперь сознаешь, что сие лишь начало болезней, и трудно выдумать исцеление. Еще в 1889 г. в рязанской губернии было только 12 % зажиточных крестьян. 34 % безлошадных, 31 % с одной лошадью. — Теперь количество скота уменьшилось на 1/3, если не на половину. И то же в других губерниях. В нынешнем году, при помощи земской ссуды, мужикам бедным, огромному количеству разорившихся легче живется, чем в прошлые года. Что-то будет на будущий год?

Наши общественные работы, если не капля, то ведро в море. На полторамиллионное население нашей губернии мы могли до сих пор занять не более как 10.000, доставив им кое-какие заработки, да выкопаем несколько сот прудов в совершенно безводных местностях, да займем еще несколько тысяч народа… Право, увидав, что делается в России и как мало подготовлено общество к сознательному действию, как оно дико, — страшно становится. Руки опускаются, но вместе и озлобление пропадает

перед такой беспомощностью и нуждою, перед величием предстоящих задач. Жатвы много, а делателей мало, надо молить Господина жатвы, да вышлет делателей на ниву свою.

И, право, в наше время одно из самых важных дел, это воспитание и образование таких делателей. Потому что потребности духовные в нашем обществе большие, а вместе дикость и невежество страшное. — О многом переговорю с тобой при свидании. Очень чувствительно мне и прямо тяжело насильственное отвлечение от занятий. В начале зимы трудно было продолжать свою ученую работу, теперь постоянно спрашиваешь себя: хорошо ли я сделал? Дотяну как-нибудь до июля».

Приложение 2.

Письмо С. Н. брату Евгению, июль 1892 г.:

«Что говорят у вас о таможенной войне с немцами. Я читаю с удивлением „Новое Время“: Суворин „умом“ находит, что мы хватили, но „русским сердцем“ радуется, что задали немцам, а „Биржевые Ведомости“ советуют, вместо того чтобы продавать нашу рожь немцам, продавать ее на русские мельницы и молоть, или еще лучше, побольше накурить вина! Все это было так глупо сделано (может быть, иначе и раньше это было нужно сделать), что только руками разводишь. Дай Бог, чтобы немцы были так глупы, чтобы уступить, а то эта таможенная война грозит нам хуже всякого неурожая. У немцев более страдают отдельные фабриканты, отдельные предприятия, отчего только общая злоба против нас разгорается, а торговля их не пошатнется. У нас же это прямое разорение. Бедное Петровское опять ничего не даст („Петровское“, Пензенское имение отца Кн. С. Н.).

Недавно читал я с Пашей (Княгиня Прасковия Владимировна Трубецкая, жена С. Н.) твоего Леруа-Болье „О папстве и социализме“. Как ни значительна папская энциклика, она характерна, как знамение времени и как новый образчик векового оппортунизма римской политики, столь удачно сочетающегося с ее непримиримостью (intransigeance). Нового фактора социальной реформы я все-таки тут не вижу. Что в Евангелии Царствия ключ к идеальному решению всех общественных вопросов — это несомненно. Но прежде, чем об этом разглагольствовать и упрекать общество в безбожии, папе не мешало бы посмотреть, почему это общество, некогда столь проникнутое католицизмом, от него отшатнулось, и есть ли отступничество от католицизма — отступничество от Евангелия. Протестантский мир отрекся от

католицизма во имя Евангелия, и пока папа имеет против себя и нас, и протестантов, и князей, и рабочих, как ему решать социальный вопрос. Ближайшее будущее принадлежит социализму в протестантских странах. В Англии и в Америке он легко может принимать религиозную, даже теократическую окраску. Папа отлично сознает невозможность овладеть социализмом политически — путем благонамеренных проектов и увещаний. Овладеть им религиозно и нравственно — можно лишь, подчинив Христу и Церкви всего человека, все общество, а не отдельные отрасли его промышленности или формы его промышленных ассоциаций. Недостаточно покропить их святой водой, чтобы сделать их христианскими — надо прежде всего людей сделать христианами. Рим успел только сделать их на время католиками, что, по-видимому, оказалось недостаточным.

Папская энциклика знаменательна, как дипломатический акт, которым папа высказывает свою независимость и готовность считаться со всяким порядком вещей.

„Вечная“ организация не связана с судьбами человеческих царств. Самые определения папы правильны quantum ad mores — замечательны в нравственно богословском смысле. Но демократизм папы прежде всего консервативен по отношению к Церкви и не только социального творчества в этом акте я не вижу, но ни тенденции, ни средств к такому творчеству в теперешнем Риме ждать нельзя. Как ни прекрасны определения папы, ce sont des remedes de bonne femme, — если в них видеть попытку церковно-фабричного законодательства. Чтобы они были действительны, нужно прежде всего всех католиков сделать послушными и отучить их от казуистики; а затем нужно и всех протестантов сделать послушными католиками. Не характерно ли одно то, что папа высказывает свои столь христианские определения de conditione opifi-cum, после всех, после того, как они были формулированы и защищаемы врагами религии. Я не думаю заподозрить чистоту намерений папы, но в целом, и помимо неизбежных влияний века, — католические попы — благоразумные мыши, „во время оставляющие полусгнивший корабль, который они же подтачивали“».

Письмо С. Н. к брату Евгению, сентябрь 1892 г.:

«Ты пишешь о политике и об общем недовольстве таможенной войной. Я теперь поразмыслил, Витте не виню особенно. Это и без него должно было случиться, жаль только, что мы не догадались объявить таможенную войну в голодный год и, таким путем разом двух зайцев убить, — вместо того, чтобы запрещать тогда вывоз, при дурацком протекционизме России и Пруссии. Эта война была неизбежной — я только не

понимаю, как она кончится… Если б у меня было время, я с охотой прочел бы несколько экономических трактатов, чтобы выяснить себе значение того великого экономического кризиса, в который мы вступаем, и который будет иметь и великие социально-экономические последствия. После объявления таможенной войны цены на хлеб упали в Европе и, говорят, еще упадут, несмотря на повсеместный неурожай. Индия распахана, Австралия распахивается, и в Америке необозримые степи, пространства больше Европы, распахиваются с необыкновенной быстротой. Скоро, т. е. через несколько лет, хлебные цены во всем мире понизятся и станут устойчивее. Придется приостановить развитие земледелия, как теперь закрывают серебряные рудники, чтоб не обесценить в конец серебро.

Но как нас может тревожить это сознание, что Европа проживет без русского хлеба, что Россия нужнее Европе, как рынок, чем как житница, так теперь эту самую Европу начинает тревожить промышленное развитие Востока. Индия, покрытая сетью железных дорог и фабрик, постепенно перестает быть английским рынком: на всем Востоке — при дешевизне труда, при громадном развитии индийского хлопчатобумажного производства — Индия забьет Англию через немного лет. Китай также быстро усваивает самую усовершенствованную европейскую технику. Это все „симптомы“, как говорит Тургеневский генерал. Видимо, не одному „милитаризму“, но и „индустриализму“ положен в будущем роковой конец».

Приложение 3.

Письмо С. Н. к брату Евгению от 6-го октября 1894 г.:

«Право, ничего полезнее для студентов изобрести нельзя. Теперь нас разрешили под следующим соусом:

1) Я объявляю „совещательные часы“ или практические упражнения в дни и часы по соглашению со слушателями (по вечерам), 2) На сии часы или упражнения, кроме студентов, допускаются магистранты, оставленные при университете, а также кандидаты, последние с разрешения ректора, 3) Организация занятий лежит всецело на мне, а равно и ответственность за них, 4) В случае, если заявленный реферат не относится к моей специальности, я могу или отклонить его, или пригласить какого-нибудь специалиста из профессоров, конечно, по частному соглашению со студентами. 5) Члены или участники принимаются мною и пускаются по моему списку: я предупредил, что могу заниматься лишь с ограниченным числом и дал список

прошлогодних наших студентов, остальные допускаются с моего разрешения, при чем я руководствуюсь рекомендациями студентов, или сам рекомендую моих прежних семинаристов. 6) Предварительная цензура рефератов принадлежит мне: рефераты политического свойства исключаются безусловно, чтобы сохранить за занятиями исключительно научный характер. Сюда заявлены следующие рефераты:

1) Joseph de Maistre, 2) Psyche Rhode 3) Философия истории Вико, 4) Константин Аксаков, 5) Об экономическом материализме и историографии, 6) Взгляд Иеринга на римское право. (Последние рефераты будут выслушаны в присутствии надлежащих специалистов). Заявлено еще несколько тем, пока неверных. Семинарии по древней философии идут прекрасно, только по ним приходится много работать самому. У меня есть специалисты, занимающиеся 2 и 3 года под моим руководством, по текстам, и ты можешь себе представить, что по Аристотелю, например, которым я уже года 3–4 не занимался, а некоторых трактатов не трогал с магистерского экзамена, — приходится-таки очень освежать свою память. Но все-таки, по-моему, это безусловно самая живая и полезная часть преподавания».

Приложение 4.

Письмо С. Н. брату Евгению, февраль 1895 г.:

«Только что получил твое письмо, сел немедленно тебе отвечать и написал большое письмо, но такое унылое, что счел за лучшее его не посылать — и без того не весело. Я в Москве с твоего отъезда веду самую одинокую жизнь и мало кого вижу, а те, кого вижу, разделяются на повесивших носы и, на никогда их не опускающих.

Очень скверное время! Главное, как-то сознаешь осязательно, что если б был поворот к лучшему — это была бы случайность. Пакость и глупость в порядке вещей.

Пакостей и глупостей немало и у нас. Университетская история затихла. Профессора получили кто порицание, кто выговор от министра (без занесения в формуляр). Но внезапно сперва исключили, а потом выслали в 24 часа из Москвы Безобразова и Милюкова (По расследованию дела Милюков был привлечен в качестве чуть ли не главного обвиняемого, как руководитель Союзного совета („Союзный совет объединенных землячеств“ — студенческая нелегальная организация), что видно из письма брата С. Н. к брату Евгению Николаевичу от 15 ноября 1895 г.). Последнего, также семейного человека, жившего

уроками, неизвестно за что. Капнист (Граф Павел Алексеевич Капнист — попечитель Московского учебного округа, женатый на Эмилии Алексеевне Лопухиной сестре матери кн. Сергея Николаевича.) клянется, что не за университетскую историю, что по этому поводу, кроме сплетен, никаких осязательных фактов против него не было: он утверждает, что Милюков был обвинен в произнесении какой-то весьма либеральной лекции в Нижнем. Но Чайковский, приехавший из Нижнего, говорит, что ни он (вице-губернатор), ни Баранов на Милюкова не доносили и в лекции его ничего предосудительного не нашли. Отовсюду только и слышится торжествующее хрюканье в ответ на поросячий визг.

В Москве гуляет инфлуэнца… и самодержавие (sic). Сижу дома и готовлю речь в память Иванцова-Платонова, которую буду читать в воскресенье.

Студенты притихли. Сконфужены поведением петербургских товарищей. В день открытия Поспеловской клиники собирались было устроить скандал Капнисту, но благоразумие взяло верх, — они предпочли вовсе не явиться на открытие. Пришло только 5 студентов, и те демонстративно вышли при начале речей. Студенты говорят, что петербургские скандалы дело не „организации“, которая в это время где-то имела сходку, а „золотой молодежи“. Верно ли это? — не знаю, во всяком случае вся эта история — просто пьяное безобразие и больше ничего. В этом все согласны».

Приложение 5.

Осенью 1898 г. С. Н. ездил в Петербург по личным делам и пробыл там два дня. Петербургская атмосфера всегда удручающим образом на него действовала. По возвращении в Москву он писал брату Евгению:

«В эти два дня я наслышался столько мерзости решительно по всем ведомствам, что до сих пор ощущаю нравственную изжогу. Это какой-то вертеп лжи, казнокрадства, холопства и всяческой мерзости. От души радуешься, что не участвуешь в этой кухне и не служишь, хотя ужас берет при мысли о том, что делается, кем и для чего»…

Приложение 6.

Письмо С. Н. брату Евгению, март 1897 г.:

«Много сволочи есть на свете, и чем ближе к Страшному

Суду, тем больше сволочи… Пишу это тебе по поводу твоего сообщения о ваших ревизорах. Не смущайся! Сему подобает быть. Главное не то, что сволочь есть, а то что хамов так много, не было бы хамов — не было бы и сволочи!

Скорее бы подохли наши чортовы куклы, кащеи бессмертные (Делянов и Победоносцев). Вот сволочи-то наплодили. Минутами даже самого себя спрашиваешь: сволочь я или нет? — Это чума нравственная какая-то! Как тут не разразиться трусу, гладу, потопу, губительству и мечу? Как видишь, я настроен эсхатологически… Мало, мало людей, которые не носили бы на себе печати звериной.

Все скоро писаться начнут 666… Я прежде думал, что за антихристом пойдут одни обольщенные и противники Господа, а теперь вижу, что первые хамы пойдут. Адресы ему писать начнут, хвост у сатаны из хамства лизать будут от чистого сердца; вопить будут: „Антихрист наш, батюшка!“ Ты скажешь, что нехорошо так писать в крестопоклонную неделю. Сам знаю, что нехорошо. Но уж написал! Я не шучу: дни лукавы, и конец приближается… а мы, грешные, и усом себе не ведем, будто всегда так жить будем, как сейчас живем. Право, с годами (без шуток) во мне усиливается идеалистическое сознание суетности и призрачности той сутолоки, в которой мы участвуем — всей жизни нашей в мире. Жаль людей, самих хамов жаль! Зачем они себя срамят совсем понапрасну?

И ведь свет есть на земле, и никакая тьма его объять не может, а ждем мы, чтоб гром ударил. И не может он не ударить. Так не может ложь всей нашей жизни продолжаться… Взгляни на тот курятник, в котором ты живешь, взгляни в себя и вокруг себя. Взгляни на то, что делается во всем мире, благо теперь русло всемирной истории объединилось недалеко, вероятно, от вечного моря. Ведь везде одно и то же, та же ненастоящая, призрачная, безумная жизнь и жалкое страдание, самоунижение людей, бедных, немощных, за которых Христос умер. Он суд миру сему, суд внутренний, и Он же суд абсолютный, грядущий со славою. Пусть Он судит нас, пусть Он торжествует, хотя бы мне погибнуть пришлось по делам моим. Он один нас спасет и помилует грешных… Конец неожиданный для тебя? и для меня… Но что же! Пишу, как пишется, брату родному сочинять нечего».

Приложение 7.

Отрывок из диссертации «О Церкви и Св. Софии».

«Если вселенская Церковь есть действительно живой и

абсолютный идеал, образующий Русь, если мудрость народная погружена в мудрость вселенскую, то самый тайник народного творчества вытекает из-под Церкви и Ею чудотворно освещается. — Идеал творчества (София вселенская) есть всеединая совокупность творческих первообразов или идей и всякое истинное творчество из него вытекает и к нему возвращается. Вся история наша, все испытания, бедствия, которые мы пережили и переживаем, указывают нам на необходимость умудриться…

Без школы нет образования, без науки нет школы, а без философии нет науки. Для философии же прежде всего необходимо самое раскрытие вселенского идеала Церкви, т. е. ее вечной Софии, необходимо философское исповедание православной веры. Если она вселенски истинна, то этим она победит все другие философские исповедания, манящие и смущающие умы православных суетной глубиной „лжеименных знаний“. Россия должна сознать свою мудрость в мудрости вселенской, ее ум (интеллигенция) должен в эту мудрость проникнуть и только исполненный ею он может образоваться и творить. Тогда он будет и все познавать в этой мудрости, все постигать и связывать ею и создаст вселенскую науку, которая не будет, однако, безнародной абстракцией, но будет общенародной и русской, ибо вселенский идеал не исключает ничего кроме ложного самоутверждения ложных начал и стихий. И наконец, тогда только явится истинная и народная школа, которая будет образовывать и воспитывать ум народа, русскую интеллигенцию сообразно вселенскому идеалу. А до сих пор задача всякого патриота — будить сознание этого идеала в обществе, и всякого ученого и мыслящего человека — способствовать развитию русской философии. Не все могут быть философами умозрительными, но все должны любить мудрость всей волей, умом и делом: в этом смысле все должны философствовать, и кто не философ, тот не христианин, по выражению Св. Мученика Юстина».

Отсутствие понимания вселенского идеала Церкви повело к разрыву между правящим классом и интеллигенцией.

«Мы все чувствуем тяжко, мучительно этот разрыв и жаждем полноты народной жизни, без которой личная жизнь не полна, тревожна и несчастна: ибо каждым из нас, сознательно или бессознательно чувствуется вселенский идеал цельности и полноты, переданный нам не только Церковью, но и органически, исторически всей жизнью народа и земли Русской, собирающим и образующим началом которой был именно этот вселенский церковный идеал. Конечно, многие его отрицают, другие его не

сознают, но именно его отсутствие в жизни и ее несоответствие его идеальным требованиям резко ощущается всеми. Великое место оставлено пустым, и целый мир кажется пустым, потому что он сам ничто перед этим местом, и все идеалы кроме вселенского призрачны. Оттого Русь в своей необъятной широте тревожится в отсутствии глубины, ищет ее, потому что перестала ее в себе чувствовать. Все члены огромного организма смещены колоссальным разрывом, ни один не занимает нормального места, и потому ни одна деятельность не нормальна и не здорова при всем богатстве здоровья и сил народных. Все в тревожном искании, все в брожении, смута легко овладевает умами при всеобщем недовольстве. — Мы недовольны всем: жизнь наша ложная, не настоящая, идеалы призрачны и пусты, искусство ложно и не дает истинного удовлетворения. Науки и школы также у нас, нет. Правительство слабо, и всякое действие его есть полумера и паллиатив, поддерживающий, но не реформирующий действительность да и нет у него в руках средства на такую радикальную реформу. В самоуправлении неурядица, в хозяйстве государственном и частном разорение. Всюду хищение и разврат, семейные и общественные отношения расшатаны».

Приложение 8.

Письмо С. Н. к брату Евгению, март 1899 г.:

«Лекции после стачки возобновляются. Я читал в понедельник, пропустил только субботу перед масленицей (пришло четверо), в понедельник на масленице. Правление исключило несколько человек и уволило массу, более 130, - точной цифры не припомню. Полиция, само собой, независимо от правления забрала и выслала человек полтораста, а охранное отделение несколько сот. Студенты говорят до 1.000, но это, очевидно, вздор. За сим после сходки, которая заявила, что не возобновит слушанье лекций, правление вывесило объявление, что вернут всех, даже исключенных, а попечитель вывесил другое объявление, что полиция вернет всех высланных ею студентов. Перед таким успехом радикалы опешили и произошел раскол: на сходке, разрешенной начальством, радикалы высказались за продолжение стачки, пока все товарищи, действительно, не вернутся. Теперь, однако, решили предоставить курсам высказаться за или против забастовки, и в курсах большинство, по-видимому, за лекции. Увидим, что будет.

Полиция безобразничала, как никогда, т. е. высылала безусловно невинных. Был даже один трагический случай

самоубийства одного бедного студента, совершенно невинного, кормившего уроками свою семью: он застрелился, когда полиция, явившись ночью, объявила ему, что его увезут. Правление безобразничало не меньше полиции: одного студента Ласточкина исключили за дерзость, якобы сказанную Виноградову, причем не допросили ни обвиняемого, ни потерпевшего, ни свидетелей, удовольствовавшись показаниями педеля. По счастью, Виноградов узнал об этом и заявил в Совете о неправильном действии правления, отрицая какое бы то ни было столкновение с помянутым студентом. Других увольняли также только по показанию педелей — часто прямо навыворот: например, несколько чересчур рьяных противников сходок, громко выражавших свои протесты. Все это кончится, несомненно, и я вовсе не сочувствую твоему настроению и в студенты поступать не намерен… В нашей Азии должны быть университеты, и мы, несмотря ни на что, должны до последней возможности оставаться на своем посту. Если существует антиномия между университетом и его средой, то мы должны сделать все возможное, чтобы антиномия разрешилась в пользу университета. „Ты должен, следовательно ты можешь“.

Я даже отправил весьма лукавую статью в С. Петербургские Ведомости, где требую пересмотра устава 1884 г. и взваливаю все на полицейский строй теперешних университетов, в которых хозяевами являются полицейские педеля и учебная администрация вместо профессорской корпорации. Ты пишешь, что автономия университета не искоренит смуты и брожения. Согласен, я ведь не ребенок. Но подумай, какой бы это был шаг вперед, и какая победа университета. По-моему, отстаивать университетскую автономию следует прежде всего в интересах университета, но полагаю, что это требование может иметь и общий интерес и принципиальное значение. А минута такова, что ею следует воспользоваться. В Петербурге свыше 70 профессоров подали петицию об изменении некоторых основных пунктов устава. Что бы и вам, киевлянам, подать записку о причинах дезорганизации университетов. Это было бы достойным делом, а не ребяческой затеей, если бы записка была составлена умно, трезво и в строго академическом духе».

Приложение 9.

Письмо С. Н. к брату Евгению, апрель 1899 г.:

«Хорошо, что вы работаете над запиской, но только с планом курсовых наставников я совершенно не согласен. Если их будет

назначать Совет, то как бы не было недоразумений между студентами и Советом, а если их будут выбирать студенты, то это будет организованная милюковщина, т. е. агитация и демагогия в весьма несимпатичном виде. Что студенческие корпорации могут приглашать профессора, или обращаться к отдельным из них — это несомненно: университетское заведование делами корпораций всего лучше передать в руки преобразованного правления, т. е. правления выборного и в состав которого помимо ректора, его помощников и деканов могло бы войти, смотря по надобности, еще несколько членов правления для заведования различными административными, хозяйственными и судебными делами университета. В сношениях студентов с профессорской корпорацией полезно различать часть официальную от неофициальной, а с твоими курсовыми начальниками ты создал бы только крайне нежелательное смешение того и другого и обратил бы профессоров в старшин студенческого клуба. Тут либо будут столкновения между наставниками и студентами, либо студенты окончательно оседлают своих наставников в университете. Нужно не разделять, но и не сливать. У нас (В Московском университете.) ничего сделать нельзя. Профессора деморализованы и глубоко не верят в успех дела. Оправдывается изречение кардинала Ретца, что страх усыпляет и парализует все общественные организации (les corpa), пробуждая исключительно личные интересы. Я послал статью, которая ходит в Петербурге по рукам, но напечатана не могла быть в силу циркуляров по делам печати. Послал вторую громовую статью, вероятно, тоже ничего сделано не будет.

Моя мать писала мне в Ялту, 19 марта 1899 г.:

„Студенты не унимаются. Теперь все поголовно исключены и ведено всем подавать прошение для поступления вновь и будет сортировка. Приведет ли это к порядку? Сомнительно. Сережа сам остановил печатанье своей статьи, находя ее несвоевременной „теперь““.

2 апреля 1899 г. моя мать писала вновь:

„Студенческая история наводит уныние и даже больше того. Сережа похудел и постарел за это время и подумывает о том, чтобы уйти, так как не предвидится ничего хорошего в будущем. Общее недовольство возрастает в страшных размерах, и все это очень тяжело для всех. А с другой стороны, другая часть общества поглощена базаром“…

Одновременно были беспорядки и в Киеве, откуда моя мать писала мне 20 апреля:

„Здесь ежедневные аресты, вчера накрыли типографию и 80 человек сразу. Очень много ходит слухов о 26-ом. Женя начнет

экзамен первый вместе с Ренненкампфом. М. А. Кочубей обещала мне прислать срочную телеграмму, но такую, „чтобы ее не поняли телеграфисты, и вы не осведомляйтесь по телеграфу.“. Полицейская вакханалия достигла апогея. Мы все подавлены. Остается только кончать диссертацию, что я и делаю.

Жалуясь, что он не встречает подчас поддержки и среди близких ему друзей и товарищей по университету, он продолжает: „Левушка (Лопатин (Л. М. Лопатин — профессор Московского Университета и друг С. Н.)) кричит: "Автономия — абсурд!" Это нам-то всю ответственность на себя принимать! Вот благодеяние выдумал! С полицией мы все равно ничего не поделаем и с революционерами студентами тоже. Нет, пущай начальство расхлебывает, а мы в это впутываться не намерены, разве насильно заставят. Если это еще года два, три продлится, придется задуматься, не переменить ли службу. — Согласись, это типично! — А другие хуже говорят. С твоим шутом гороховым С. и говорить нечего. Он мне объяснил однажды: (до беспорядков), что "жизнь делает Боголепов, а все остальное — разговор". Положим, это отчасти справедливо, но не знаю, находит ли теперь С., что это нормально. Суб-инспектор сообщал нам, что студенты заплевали его мундир. Мне не верится; он бы, я думаю, умертвил бы кого-нибудь при сем случае. В Совете, в начале беспорядков, С. кричал, что при теперешней перестройке университетских зданий надо главное выстроить громадное помещение для карцеров. Карцеров, однако, не строят.

У нас на факультете ведут себя хорошо П. Г. (Виноградов), В. О. (Ключевский), В. И. (Герье) — прочие — полный пас! Эти трое, по крайней мере, готовы были сделать все возможное. Н. Я. — "в инфлуэнции", т. е. пьян без просыпу. Павел Гаврилович и Василий Осипович отказались от деканства.

Дай вам Бог в Киеве успеха! Под величайшим секретом могу тебе сообщить, что у П. Г. Виноградова собирается человек 10 составлять записку"."

В начале мая 1899 г., получив от брата Евгения записку по университетскому вопросу, он писал ему:

"Вполне одобряю твою записку и весьма ее утилизирую. Прилагаю письмо ректора Зернова (Письмо Зернова: "Многоуважаемый С. Н., не нахожу слов, чтобы благодарить Вас за подаренную Вами брошюру и данную на прочтение рукопись Вашего брата. Я прочел с особенным удовольствием, потому что она мотивирует и разрабатывает мысль, которую я давно лелею и пытаюсь высказывать, где нужно. Весьма было бы желательно, чтобы эта докладная записка была действительно представлена, куда следует. Рукопись при этом возвращаю. Примите уверение и

проч.". 29 мая 1899 г.) по сему предмету. Давал читать записку Герье и иным лицам… Посылаю записку в Тверь к А. Лопухину (Алексей Александрович Лопухин — прокурор суда, впоследствии директор департамента полиции.), который вел дознание 1894 г. и изучил вопрос. Он сообщит тебе свои замечания и дополнения, так как говорит, что материал его полнее капнистовского. Выводы его сходны с твоими, и он еще настаивал в 1894 г. перед Горемыкиным на необходимости разрешить землячества.

Готовь записку, не смущаясь тем, много ли будет подписей, и представь по начальству, разослав копии по другим министерствам, хотя бы за твоей личной подписью. Важны не подписи, а содержание. "Историческую" записку можно, по-моему, подать и отдельно.

За лето вопрос о студенчестве будет обсуждаться в министерстве, и потому надо не откладывать дела.

Если б ты захотел выработать нормальный проект устава землячеств, то это необходимо сделать так, чтобы как можно ближе подойти к действительным уставам (жаль, что ты не приводишь ни одного устава). Иначе, как мне говорил бывший председатель С. С. (Союзного совета.), за 1894 г. немедленно наряду с легальной организацией, или даже в ней самой, разовьется организация нелегальная.

Менее моего удачно у тебя разработана та часть, где ты говоришь о профессорской корпорации. Ты слишком налегаешь на одно выборное начало, едва ли не еще более важно восстановление Совета. Автономия университета зависит не столько от способа пополнения коллегии, сколько от участия этой коллегии в управлении университетской жизнью. Этим я не хочу, разумеется, отрицать необходимость самопополнения проф. коллегии и, в особенности, выбирать правление. Но нельзя говорить только об этом: сие приложится само собой при автономии, а автономии, как мы видим, еще не приложится, если кафедры будут замещаться по выбору… необходимо указать на невозможность создавать студенческие корпорации, не восстанавливая той корпорации профессорской, которая одна может ими управлять и стоять над ними".

Приложение 10.

Письмо С. Н. к Б. Н. Чичерину:

"Многоуважаемый Борис Николаевич! Благодарю Вас за Ваше доброе письмо, которое очень тронуло меня и мою жену. Я счастлив, что заслужил Ваше одобрение. С тем, что Вы говорите о

свободе печати, я, разумеется, согласен вполне, но увы! "корректива", о котором Вы говорите, еще долго придется дожидаться. Я написал свою статью по весьма конкретному поводу: Ухтомский сослался на двойной циркуляр Главного Управления по делам печати, запрещающий говорить об университетских делах: в силу этого циркуляра нельзя было напечатать моей статьи об университетских беспорядках, между тем как Грингмут сквернословил ежедневно и беспрепятственно, и в Главном Управлении была воспрещена самая полемика с ним и с Сувориным. Это обстоятельство, а равно и прочтение Вашей превосходной статьи о земстве, которую тогда Ухтомский тоже не решился напечатать, повергли меня в великий гнев за себя и за тех, "чей голос я считал много более веским, чем мой голос", как я написал в своей статье. Разумеется, никогда свободной печати у нас не будет при теперешнем порядке: если б можно было говорить о нашей внутренней политике, напр. о преступной деятельности департамента полиции, то сей департамент значительно изменился бы и в личном своем составе и в характере, и в самом масштабе своей деятельности. Поэтому, каждый шаг в направлении к гласности имеет для меня великое значение, хотя я, лично, презираю газетную прессу не менее Цертелева.

То, что Вы говорите об утратившем свое значение "устое", я разделяю от всей души, только в отчаянии не вижу средств освободиться от этого трупа, который к нам прикован и который заражает нас своим гниением. Ничего более позорного я не знаю, минутами вспоминаешь царства древнего Востока, которые погибли, как истуканы на глиняных ногах, и спрашиваешь себя: не ждет ли и нас та же участь? Минутами видишь другой образ: старой, гнилой, никуда негодной старой плотины, из которой сочится вода. Воды приливают медленно, но постоянно, и чем больше они приливают, тем более валят навоза и мусора в плотину, чтобы удержать воду, валят так много, что кругом вся вода гниет, и рыба дохнет. Я понимаю, что всего рациональнее было бы устроить в плотине хорошие шлюзы и открыть их. Но хозяева плотины не хотят и только затыкают дыры в надежде, что навозу у них много, а вода стоячая.

Что же делать? Ждать, чтобы плотину прорвало или даже самим отыскивать locus minoris resistentiae, и отколупывать щели и дыры, сквозь которые могла бы идти вода? Приходится, хотя бы потому, что все делаемое нами в конце концов сводится лишь к отколупыванию дыр. Не станем же мы навоз валить в воду! Мы хотим шлюз, а выйдут только дыры, и это мало утешительно. Приходится заранее подчиниться тому, что старую плотину

сломают, и придется строить новые шлюзы. А как переделать старое, я этого не вижу к моему великому горю и смущению. В конце концов какая-нибудь буря с Запада сделает разрушительное дело. Теперь нужна созидательная проповедь, нужно подготовление общества к тем великим задачам, которые его ждут, а оно так бессознательно, так испорчено, так пропитано застоявшимся навозом! Дай Вам Бог сил и здоровья, бодрости в Вас так много. Вы на своем веку много потрудились над величайшими задачами науки и философии и дали столько ценных трудов, что Вам на старости лет можно без греха и без опасности быть и публицистом. А теперь задачи для публициста громадные. Всякая статья Ваша зачтется Вам, все равно напечатаете ли Вы ее здесь или заграницей".

Приложение 11.

Письмо С. Н. Чичерину, осень 1899 г.:

"А я к Вам с просьбой написать что-нибудь в Петербургские Ведомости по поводу предполагаемой руссификации Финляндии. Дело это, по-видимому, совсем на чеку, и с Нового года последуют "реформы", начиная с реформы воинской повинности. Витте, который так прислушивается к Вашему слову, стоит горой за эту руссификацию. (В своих воспоминаниях С. Ю. Витте уверяет, что всегда был против этой пагубной политики.) По-моему, это верх абсурда и безумия, по поводу которого надо в набат забить. Много безобразий в этом смысле мы видели, но по размерам и по значению ничего подобного мы не видали и при Александре III. Кому нужно создавать очаг революции под Петербургом и вносить смуту в самую мирную и культурную страну всей Империи! Правда, перед этой перспективой бледнеет разгром остзейских провинций. Там хоть предлог какой-нибудь был в разноплеменности населения, в феодализме баронов и т. п., но здесь. Это выдумка голодных ташкентцев или просто нигилистов, мечтающих создать вторую Польшу под Петербургом. — Борис Николаевич, напишите что-нибудь об этом, только так, чтобы напечатали… Ваше слово имеет вес и может принести пользу. После разрешения вопроса о греко-униатах надо ко всему быть готовым, а пока еще не поздно, надо говорить. Я сам написал бы, но так поглощен диссертацией, что дал зарок не отрываться. И потом мое слово разве будет иметь то значение, которое должно иметь Ваше слово? Самый вопрос Вам известнее. Сделайте доброе дело, каков бы ни был результат. — Придраться можно к систематической травле Финляндии и к

тревожным слухам по этому поводу".

Приложение 12.

Письмо С. Н. Ф. Д. Самарину от 30 марта 1900 г.

"Диспут мой сошел весьма гладко и даже с успехом. С Левушкой был длинный и весьма скучный для публики спор, а затем был и не менее скучный для нее спор между мной и Никольским. Он возражал, впрочем, основательнее Левона (Левушка, Левон — уменьшительные имена Льва Мих. Лопатина.) на первые две главы о мессианстве и об идее Бога, указывая, что изображение слишком схематично, и что желателен был бы исторический очерк вместо отвлеченной характеристики, с чем я отчасти согласен и переделаю обе главы, так как издание, по-видимому, быстро разойдется. Я выпустил всего 300 экземпляров, и уже теперь пришлось отказать Суворину на его требование о присылке 10 экземпляров. Затем Никольский стал нападать на закон, доказывая, что он понизил религиозное сознание Иудеев после пленения, с чем я согласиться не мог, доказывая, что почти все то в ветхозаветной литературе, что доступно нашему пониманию без исторической подготовки, как то псалмы, Иов, Второ-Исаия, и т. д. относится к эпохе пленения, что самый закон был подготовлен пророками, реформа Ездры — Иезекиилем, и что после великого кризиса 1 века и второго разрушения храма, Иудейство ожидовело окончательно, между тем как его духовная жизнь после первого разрушения делается более глубокой и разнообразной, чем прежде. Cheyne считает отрицательное отношение к подзаконному иудейству и к влиянию закона остатком прежних традиционных взглядов, что, по-моему, справедливо. (Посылаю тебе отчет о моем диспуте в Северном Курьере, самый подробный). После сего в 6 часов диспут кончился, и меня качали в актовом зале.

К удивлению духовные академики, бывшие на диспуте, были чрезвычайно им довольны, а равно и некоторые священники, присутствовавшие на диспуте. За сим был обед и симпозион до 3-х часов ночи.

Очень рад, что ты моих гностиков одобрил — за них меня хвалили и мои оппоненты и в факультетском отзыве. Ободренный сей похвалой, посылаю тебе статью, помещенную мною 10 марта в Петербургских Ведомостях. (См. статью "К современному политическому положению". С. Н. проводил здесь мысль, что только сближение между Россией, Германией и Францией может облегчить бремя современного европейского милитаризма и

вместе обеспечить мирное политическое успеяние трех названных держав, освободив их от страшного и непроизводительного напряжения всех их сил, направленных исключительно на оборону друг от друга. См. Собр. соч. т. I, стр. 41.)

И хотя я столь же уверен в справедливости, высказываемых там положений, как в еврейском происхождении гностицизма, тем не менее опасаюсь, что ты найдешь менее правильными те выводы, которые я там делаю".

Письмо матери С. Н. кн. С. А. Трубецкой к ее дочери кн. М. Н. Гагариной.

"Хороший день был вчера! Диспут прошел спокойно без инцидентов и очень хорошо. Сережа сказал очень хорошую речь и закончил ее блестяще, так что продолжительный гром рукоплесканий был ответом на нее. Было полным полнехонько, и масса студентов громоздилась всюду. Вообще аудитория казалась вся сочувственной в высокой степени. Пока говорили оппоненты, многие ходили подышать, другие подсмеивались и вообще протестовали своим видом; как только заговаривал Сережа, восстанавливалось полное молчание, и все жадно слушали. И говорил он мастерски, вполне спокойно, и речь лилась рекой. Очень было интересно, что он говорил и как возражал. Длилось это бесконечно, — началось в 21/2, а кончилось в 61/2.

Жаль, что не Никольский начал, хотя он говорил невыносимо скучно, искал слов, запинался, заикался, но вопросы были самые интересные о мессианизме, и ответы Сережины очень интересны, но он уже старался сокращать их, а Левушка до 5 часов оппонировал и неинтересно. Они так заморили всех профессоров, что один из них, собиравшийся возражать, уступил просьбе других и воздержался… И так уж в душной аудитории просидели все 41/2 часа.

Когда прочли отзыв факультета и провозгласили Сережу доктором философии, то поднялся такой гвалт, так стучали все стульями, скамьями, и такие восторженные лица были у студентов, что мы все со слезами на глазах были. Кончилось тем, что Сережу окружили студенты и тут же в аудитории стали качать, несмотря на его мольбы; это было нечто стихийное, и говорят, никогда этого не бывало. Многие из профессоров подходили к Паше и говорили: "Радуйтесь вдвойне. Мы радуемся, что за такие идеи его качают". В этот момент я была испугана, боялась, что эта сумасшедшая толпа повредит ему, но на эти восторженные лица волнительно было смотреть!

Все эти дни можно было предчувствовать успех: номерованные билеты давно были все разобраны, а к Сереже присылали более сотни записок и в университет также… В одном

магазине вышли все книги, потребовали еще 50, и через два часа не осталось ни одной. Скоро все издание кончится и придется издавать вторично, но уже не от университета, и оно должно будет пройти через Цензуру. Все что мы перечувствовали, это вы сами поймете!.. Я еще и еще благодарю Бога, что он дал мне дожить до этой книги и до этого дня. (Замечательно, что кн. С. А. Трубецкая скончалась ровно через год спустя день в день: 23 марта 1901 г., между 6–7 час. вечера.)

Сережу хотели нести по лестнице, и там еще ждала его толпа, но он этого уже не допустил, и его мольбе вняли."

К ГЛАВЕ 2-й

Приложение 13.

В своей характеристике общего философского миросозерцания С. Н. Л. М. Лопатин указывает на то, что, хотя С. Н. значительно эмансипировался от первоначального влияния славянофилов, тем не менее основное понятие его гносеологии, — понятие веры, — общее у него с ними. У него, как и у славянофилов, вера является как бы третьим источником познания рядом с чувственностью и разумом. (Вопросы философии и психологии, 1906 г.).

"Verachte nur Vernunft und Wissenschaft!" ("презирай только благоразумие и науку" нем.; ldn-knigi) — писал С. Н. одному приятелю. — Вот что славянофилы слишком мало поняли, точно так же как их учители, европейские романтики. Вся реакция позитивизма оправдывается этим недостатком уважения к науке и непониманием научного духа, ненаучностью романтической метафизики с ее гениальными интуициями… В конце концов, вся философия, вся общая теория нашего славянофильства свелась лишь к какому-то многообещающему предисловию: самая книга не была написана, да едва ли могла быть написана. Это, во всяком случае, урок всем нам, русским людям вообще, и идеалистам в частности: книга еще не написана, а мы уже на нее ссылаемся и ею гордимся. Что касается мещанства, то я не знаю более мещанской интеллигенции, нежели именно наша, разница только в том, что европейская интеллигенция обеспеченнее. Мещанство везде есть, было и будет, и если восторжествуют идеалы социализма, то все человечество станет мещанством. Это не значит, разумеется, чтобы в области духа ему принадлежало грядущее царство: оно будет, как и теперь, группироваться вокруг вождей.

У нас есть мещане марксизма, мещане позитивизма, мещане идеализма, аристократов духа у нас не больше, чем на Западе. Утверждать, что на Западе господствует мещанство духа, и что там нет жажды духовной и жизни духовной значит не знать духовной жизни Запада, нам современной. Я убежден, что если б Вы ознакомились с религиозной жизнью современной Германии (говорю о том, что мне ближе знакомо), Вы нашли бы ее более богатой, нежели Вы предполагаете и изменили бы Ваше суждение. Укажу еще на скандинавскую литературу, с великим Кьергегором во главе, наконец, на социальные движения, в которых сказывается не менее, чем у нас, религиозно-эстетическое творчество… Можно было бы указать на слишком многое… между прочим и на самую науку, которая двигается вперед не мещанами духа, и у которой Вы не отнимете печати ее священства".

Приложение 14.

"О современном положении русской церкви". Отрывок из недоконченной статьи:

"Богословские теории славянофилов заключали в себе существенное и характерное недоразумение: православие, в течение стольких веков обособлявшее христианский Восток от христианского Запада, является в их глазах новым принципом всечеловеческой, всемирной культуры. С точки зрения Хомякова оно гармонически примиряет в себе противоположные крайности католицизма и протестантства, единства и множества, авторитета и свободы. И в то же время, в противность истории и несогласно с практикой нашей церкви, — римская церковь и все протестантские церкви не признаются церквами вовсе.

В официальном учении нашей церкви, и в особенности в ее практике, мы не находим ни такого острого, наступательного отношения к западному христианству, ни таких широких культурных замыслов. Римская церковь, сохранившая преемство апостольское, признается, во всяком случае, за церковь, раз что действительность ее не подлежащих повторению таинств (крещения, миропомазания, иногда и священства) на практике признается. Известно, что греки в этом отношении неоднократно меняли свой взгляд и, главным образом, по политическим соображениям. С большей принципиальной терпимостью, с более глубоким мистическим взглядом на божественный характер таинств, наша церковь видит в западных христианах крещеных членов церкви Христовой, предоставляя Христу судить их".

Говоря далее о реформах всего церковного строя, предлагавшихся славянофилами, С. Н. находит, что они более подходят к каким-нибудь "индепендентским" общинам, чем к православной церкви. Эти преобразования демократизация церкви, выборное священство, выборная иерархия, женатые архиереи, серьезно предлагавшиеся в славянофильском лагере — несомненно свидетельствуют о недостаточном понимании духа православной церкви, ее прошлого, ее будущих задач… "Равным образом, и в других подробностях славянофильского богословия, даже в его полемике против западных исповеданий, сказались протестантские влияния". С. Н. указывает, что "идеал восточной церкви — не в развитии земной культуры, не в мире вообще. Высшее выражение ее духа — в монастырях и в монашестве". С. Н. высоко чтил монашество.

В одной из неизданных рукописей его мы читаем:

"Нигде христианский аскетизм не достигал такого чистого и высокого развития, как в православной церкви. И нам, православным, более всего надлежит понимать положительное значение его в религиозной и нравственной жизни народа. Монастыри лучшее сокровище нашей жизни, ее гордость. Пусть их клеймят высокомерным презрением люди, не знавшие духовной жизни, не задумывающиеся даже над теми могущественными побуждениями, которые заставляют столь многих людей добровольно идти на этот тяжкий и лютый подвиг. Пусть толкуют о распущенности иных монастырей, о лени и праздности монахов, их пороках.

Мы знаем, что наши монахи не похожи на ангелов. Мы знаем, что нигде противоречие между идеалом и земной действительностью, между небом и землей не бывает глубже, хотя нигде оно глубже и трезвее не сознается, нигде оно не переживается мучительнее. Мы ценим монастырь как институт, в котором выражено жизненное целое учение православной церкви, ее глубочайшая вера в невидимую Церковь бесплотных духов, молящихся Богу и славящих Имя Его. И мы ценим монастыри, несмотря на их нечистоту, за те святые жемчужины, которые сияли из их стен. Пост и молитва русского монашества воспитали наш народ. И каково бы ни было это воспитание — смирения, добровольного отречения, веры, и послушничества — мы должны признать его дисциплинирующее значение, его великий нравственный престиж. Как бы ни были несовершенны наши монастыри их только и чтит наш народ, ими воспитывается он в сознании Царства Божия, которое не от мира сего, и которому надо служить самоотверженно, все принося ему в жертву. — Преподобный Сергий… имеет значение не только в религиозной

и нравственной, но и в политической истории России, и то же следует сказать о других святителях наших"…

Приложение 15.

В бумагах С. Н. нам удалось найти письмо к Вановскому, написанное им до решения самому поехать в Петербург для личного доклада по этому делу. Вот что С. Н. пишет:

"Ваше Превосходительство! я позволю себе писать Вам, как человек, посвятивший свою жизнь университетскому делу, глубоко убежденный в важном значении того, что я высказываю.

9 февраля в стенах Московского Университета состоялось безобразное сборище студентов, завлеченных туда агитацией, продолжавшейся несколько месяцев. Все участники этой сходки исключены из тех заведений, где они обучались, и ожидают в тюрьме приговора, который над ними должен состояться.

По моему глубокому убеждению, этот приговор может иметь самые крупные последствия не только для виновных, но и для всей русской учащейся молодежи. И последствия эти будут роковыми, если оправдаются слухи о предполагаемом решении.

Повторяющиеся беспорядки делают невозможным правильное течение академических занятий и требуют строгого подавления. Студенческое движение за последнее время стало, по счастью, терять то сочувствие, которым оно пользовалось в некоторых кругах. Бесчинства 9 февраля возмутили всех, и само студенчество прониклось сознанием того, какою жалкою, глупою и постыдною мальчишеской выходкой была их "политическая демонстрация", которая должна была дать "Основы будущего публичного права России", по словам одной из прокламаций.

Наказание, которое должно постигнуть виновных, будет всего справедливее и разумнее, всего целесообразнее лишь в том случае, если оно усилит, закрепит такое впечатление окончательно. Но, если справедливы распространившиеся слухи, если этих невоспитанных, сбитых с толку мальчишек ожидает ссылка в Сибирь, то такая кара неизбежно вызовет в русском обществе самое потрясающее и, вместе, самое нежелательное впечатление. Она превратит этих юнцов в каких-то политических мучеников, чуть ли не в декабристов, даст им ореол, которого они всего менее заслуживают, она их увенчает и заставит их самих и их товарищей видеть в них борцов за свободу, а в их манифестации не мальчишескую выходку, а чуть ли не подвиг трех сот спартанцев.

Я знаю, что я говорю: для всех пылких, увлекающихся

юношей пример этих мнимых "героев" будет сильнее наших увещаний, наших разумных речей.

Ссылка 400 студентов в Сибирь. 400 юношей, почти детей, среди которых есть много просто наивных, обманутых, увлеченных, ссылка без суда, без опроса, ссылка, которая более самих виновных потрясет их отцов, их братьев, товарищей — что будут значить в сравнении с этим все наши слова. Если бы ценой такой жертвы можно было бы еще купить хотя бы замирение высших учебных заведений. Но я не сомневаюсь, что в лучшем случае она вызовет лишь временное ошеломление, под которым будет разгораться непримиримая ненависть и ожесточение.

Сборище 9 февраля кончилось, как оно должно было кончиться — постыдным фиаско; зачем же обращать его в победу, в торжество революционеров. Большего они не могли бы желать — ведь не думали же они в самом деле, что, взмахнув красным флагом, они переменят существующий порядок.

Ваше Превосходительство! Русская молодежь невоспитанна, необузданна, развращена, но, слава Богу, она не подла и не труслива: она лезет в огонь, она способна жертвовать собою за то, чему она верит, и самая опасность ее привлекает. Не раз она это доказывала, и эта черта позволяет надеяться, что при изменившихся условиях воспитания русское общество даст лучшие плоды. Оно не побоялось солдатчины, оно не побоится и ссылки. Не побоятся ее более смелые, пылкие, ищущие подвига, а также поведут за собой других. Ссылка в Сибирь может вызвать лишь новые и новые жертвы, но она не будет иметь успеха устрашающей меры.

Ее станут объяснять не силой и твердостью правительства, а слабостью, испугом перед студентами: она вселит в них ложное, преувеличенное представление о их политической силе, о значении их мальчишеских демонстраций.

Это только ободрит их и парализует деятельность действительно разумной и консервативной части молодежи.

Приговор мирового судьи за буйство и нарушение общественной тишины сделал бы во сто крат больше, для усмирения университета и посрамления буянов. Это был бы действительно отрезвляющий холодный душ, который показал бы студентам, что их никто не боится, что их никто не считает серьезной общественной силой, но что в них видят безобразников, которым в университете нет места, которые будут удалены из него с беспощадной строгостью. Перед таким приговором осталось бы только преклониться: он был бы безусловно справедлив и вместе беспощаден, гуманен и в то же время в высшей степени действителен, вызвав общее одобрение;

он не только покарал бы виновных такой тяжкой карой, как исключение из университета, но и действительно судил бы их всех и в глазах всех, не привлекая к ним ничьей симпатии. И, как это ни странно, такая мера, бесконечно более мягкая по виду, могла бы иметь действительно устрашающее значение по своим нравственным последствиям. Она не подорвала бы престижа правительственной власти, а, наоборот, показала бы ее спокойную твердость и нравственную силу. И она, действительно, могла бы иметь исправительное значение: она не превращала бы сбитых с толку мальчишек в серьезных политических преступников и наглядно показала бы им ничтожество их усилий против твердыни русского государства.

Вот, Ваше Превосходительство, что я считал долгом сказать с полнейшей откровенностью, полагая, что люди, ближе стоящие к молодежи высших учебных заведений, обязаны в минуту исключительной важности уведомлять о ее пользах и нуждах те лица, в руках которых находится ее участь, и которые со своей стороны стремятся к ее благу и исправлению".

Интересно, что еще в 1882 г. В. К. Плеве в Комиссии при Министерстве Народного Просвещения, в которой он принимал участие в качестве директора Департамента полиции, высказал следующее:

"Уволенные студенты являют собой главный контингент, из которых крамола вербует своих деятелей: беспорядки в высших учебных заведениях и неминуемо следующие за ними исключения представляют как бы рекрутский набор, производимый крамолою в рядах учащейся молодежи. В бездействии, нужде и лишениях исключенные из учебных заведений молодые люди, жизнь которых оказывается разбитой в самом ее начале, ожесточаются против общественного и государственного строя, и те из них, которые только склонялись прежде к учениям крамолы, теперь вполне проникаются ими, причем подвергшиеся административной ссылке уже в местах своих ссылок начинают оказывать вредное влияние на местное население, а по возвращении своем из ссылки, если успеют снова проникнуть в высшее учебное заведение, становятся деятельными агентами тайных обществ и в духе их действуют среди своих товарищей".

Приложение 16.

Письмо С. Н. к брату Евгению, осень 1901 г.:

"Вчера получил следующее печатное предложение от ректора — "К сведению и исполнению".

"В случае желания отдельных курсов обсудить вопрос, как отнестись к статье кн. Мещерского в "Гражданине", я имею полномочие, в виде исключения, ввиду вызванного статьей возбуждения, разрешить курсовые совещания по этому вопросу на следующих условиях: 1) О разрешении совещания должно быть заблаговременно объявлено студентам данного курса, 2) Совещание должно происходить непременно в присутствии профессора или помощника инспектора, 3) На обязанностях этих лиц лежит следить за тем, чтобы совещание не выходило из круга, назначенного для обсуждения вопроса; в противном случае, а равно и в случае возникшего беспорядка совещание закрывается, 4) Решения курсов, состоявшиеся в полном с вышеуказанном согласии, г.г. профессора или инспектор студентов передают ректору для представления попечителю учебного округа. Об этом имею честь уведомить и г.г. деканов, профессоров и инспектора студентов для сведения и исполнения. Тихомиров".

Переписываю полностью этот замечательный документ. Вызван он следующим: курсистки потребовали от Герье, чтобы он вступил в полемику с кн. Мещерским. Герье выразился в том смысле, что "на всякое чихание не наздравствуешься". Об этом узнала "организация" в университете и постановила потребовать от Герье объяснений и освистать его. Весь филологический факультет восстал очень дружно против этого и с большим негодованием, издав прекрасное обращение к товарищам других факультетов. В общем это обращение имело большой успех, но "организация" ("Организация" эта именовала себя "Исполнительным Комитетом".) слышать ни о чем не хочет и требует скандала. Чтобы обмануть или, если угодно, задобрить "организацию", ректор изобрел приведенный фортель в целях и видах "сердечного попечения".

Я нахожу это не только возмутительным, но и грозным: на такой почве ни выборный, ни назначенный ректор управлять университетом не могут. Во всяком случае, тихомировская прокламация составляет один из самых курьезных документов из современной истории наших университетов. Пиши тут об университетском вопросе!.. Силою вещей и к величайшему прискорбию всех благомыслящих людей университетский вопрос de facto становится вопросом общей политики. Прощай!.. Иду на Совет…"

"Был на Совете. Некрасов, попечитель Московского учебного округа, в ответ на протест Цераского отвечал (он председательствовал): "Сам знаю, что предложение, присланное ректором по моему распоряжению и по распоряжению министра,

позорно. Но что же делать?! С болью в сердце мы должны были уступить обстоятельствам". Тогда Некрасову сказали, что студенты не удовлетворятся одним представлением их решений по поводу статьи кн. Мещерского г. попечителю; они хотят, чтобы их протест получил какой-нибудь смысл. Попечитель отвечал: "Студенты могут выразить кн. Мещерскому глубокое презрение. А если им недостаточно, что это будет доведено до моего сведения, то пусть знают, что я доведу это и до сведения министра". Один из профессоров заявил, что студентам мало и этого, на что Некрасов отвечал: "А что я еще могу?!"

Вся эта недостойная комедия только тешит студентов, которые пользуются нашей глупостью и морочат начальство. На самом деле, цель их очень определенная: забрать все студенчество в лапы "организации", уже существующей, и добиться этого путем систематических беспорядков.

Здоровье мое, слава Богу, поправилось и поправляется, но суеты масса и в университете и по делам".

Приложение 17.

Письмо С. Н. к А. А. Чичериной (рожд. гр. Капнист), супруге Б. Н. Чичерина:

"Благодарю Вас за добрые слова обо мне. Ничего бы не имел против субботнего покоя, только ведь мы не боги и опочить, когда мы сами этого хотим, нам не всегда возможно. Не правильная умственная работа утомляет человека — на ней отдыхаешь: утомляют горести, заботы, хлопоты и суета, которую иногда так трудно избежать.

Сейчас у нас в университете идет Бог знает что! Студенты хотели освистать Герье за то, что он не пожелал полемизировать с "Гражданином" и счел ниже своего достоинства отвечать на его грязные обвинения против женских курсов. Лучшая часть студенчества дала дружный отпор агитаторам, но вдруг, по распоряжению Вановского студентам предложено было обсудить по курсам вопрос о том, как отнестись к статье кн. Мещерского.

Теперь пошел кавардак: начальство беспомощно, студенты желают беспорядков, чтобы взять университет в свои руки. Я не вижу конца смуты. Устав 1884 г. привел к господству студентов, а эти последние служат простым орудием революционных стремлений.

Это очень грустно, но что с этим поделаешь! Поневоле приходится бороться, хотя никакой почвы под ногами не чувствуешь".

Приложение 18.

"Временные правила" и в Киевском университете вызвали усиление беспорядков до такой степени, что заставили брата Е. Н. Трубецкого призадуматься об оставлении университета. Отвечая на это, С. Н. писал в марте 1902 г.:

"Я знаю, как дорого тебе университетское дело, составляющее истинное твое призвание. Если уж в тебе слагается решение оставить университет, то, стало быть, дело плохо. Я люблю университет и многое готов для него сделать: мне жалко даже на будущий год уехать — факультет наполовину опустеет (Виноградов, Ключевский и я): но, право, я все-таки не знаю, кто больше из нас любит университет: во всяком случае ты не меньше, а, вероятно, даже еще больше меня, так как я педагогом (даже университетским) всегда был плохим и, если приносил пользу студентам, то не в этом качестве, да и при том я видел, с какой страстью ты относишься к своему делу, и как ты страдаешь из-за него. Чтобы ты перестал постепенно быть порядочным человеком, — этого я не боюсь! Я знаю, что ты поступишь по совести и притом по настоящей совести, а не по той нервной дряни, которую иная теперешняя мразь за совесть принимает. Ты боишься поддаться впечатлению и хочешь себя проверить, пишешь на бумаге свои доводы и просишь меня выставить тебе другие против них.

Голубчик мой! Трудно мне с тобой спорить. Сам уезжаю и не знаю еще хорошенько, вернусь ли, хотя, по общему мнению, на будущий год беспорядков не будет (вероятно, и у вас). Уезжаю, чтобы очнуться и целых 14 месяцев исключительно отдаться научным занятиям. — Потом, надеюсь, трезвее буду на вещи смотреть. Одно могу сказать — невыразимо будет жаль, если уйдешь! Жаль для университета вообще, не для Киевского, а для русского университетского дела. Это смертный приговор ему. Если ты уйдешь с болью в сердце, без раздражения, без всякой надежды, даже без протеста, — это будет признание, что университет абсолютно невозможен, ни при каких условиях, лет на 20–40, вплоть до общего обновления.

Я сам все спрашиваю себя, так ли это, и неужели же в такую критическую, смутную пору мы должны отказаться от мысли давать людям университетское образование, отказаться от всякой попытки вести дело высшего научного образования. Я спрашиваю себя также, если выходишь по мотиву столь принципиальному, можно ли сидеть молча? Последнее мне кажется едва ли возможным.

Всякий спросит тебя о мотивах твоей отставки — студенты,

товарищи, министр, и ты должен будешь ответить. Сказать, что ты уходишь до палингенесии (ldn-knigi: "рождение, возрождение, термин древней греч. философии: 1) Первоначально в стоицизме означал "возрождение" мира после мирового пожара; 2) Позднее попал в сферу пифагорейского учения о метемпсихозе") отечества, было бы неосновательно, да и, действительно, мотив твоего ухода все-таки отсутствие университетского строя в университете. Волнения среди молодежи, вызванные внеуниверситетскими причинами, были бы не страшны для университета и не ставили бы нас в невозможность и унизительное положение, если бы в самом университете Совет занимал положение достойное и авторитетное. Поверь, что автономные советы университетов никогда не стали бы подвергать себя добровольному химическому оплеванию и физическому заушению. Этого нужно добиваться и, если уж уходить, то в случае невозможности этого добиться.

Вот почему в Московском университете я даю себе отсрочку, но только при решении вопроса такой принципиальной важности, как вопрос to be or not to be университету в России: едва ли может быть большая разница между Москвой и Киевом, хотя обструкции у нас еще пока не было. Тут нужен Кантовский категорический императив: "handle so, dass die Maxima deiner Handlung als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten koenne".

Но тогда ты должен сказать: "все порядочные профессора должны уйти". Мы близки, очень близки к этому: может, час настал…

Вопрос о жаловании: можешь ли ты или нет без труда от него отказаться, должен отступить на второй план с нравственной точки зрения; для не юристов (По уставу 1884 г. студенты должны были платить так называемый гонорар по 1-му рублю в полугодие за недельный час, что составляло крайнюю неравномерность в оплате профессорского труда. В Московском университете в это время на первом курсе юридического факультета было до 1000 чел., и профессор получал 1000 рублей в полугодие за недельный час, а на III курсе классического отделения было два человека, и за тот же недельный час профессор получал два рубля в полугодие.) он и не играет столь большой роли, так как место в 2.000 рублей, а то и в 3.000 можно исподволь приискать и помимо университета. Поэтому я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы поднимать и общий вопрос о возможности профессуры в связи с личным вопросом.

Обо всем этом будем говорить при свидании. При сем прилагаю устав учрежденного мною общества. Главный № есть неписаный, а именно, что на него никакие забастовки и

беспорядки не распространяются, и что в смутные университетские времена научные занятия в обществе не прекращаются, почему оно должно стать очагом академической свободы.

Секций в Обществе пока немного: философская (председатель — Лопатин). Всеобщая и русская история, историко-литературная, общественных наук (должна распадаться на множество отделов). Председатель Общества — я, товарищ председателя — Новгородцев; Общество печатает свои труды. Первый выпуск перевод метафизики Аристотеля и лат. диссертация Канта — de mundi intelligibilis et sensibilis forma! и периодический сборник, куда, помимо студентов обещали свои вклады многие из наших московских, а также иногородние ученые (Милюков, Кареев, Гродескул и др.), дай и ты что-нибудь к этой осени…"

Приложение 19.

Весной 1903 г. С. Н. писал Б. Н. Чичерину:

"Дорогой Борис Николаевич! Студенческое Историко-филологическое Общество, которого я состою председателем, избрало Вас своим почетным председателем и просит Вас оказать ему высокую честь Вашим согласием. В настоящее время Общество насчитывает четыре секции: философскую, историческую, историческо-литературную и секцию общественных наук. Философская секция (под председательством Лопатина) к осени надеется приступить к печатанью своих "трудов" — перевода метафизики Аристотеля, отчасти уже изготовленного под моей редакцией, и латинской диссертации Канта — под редакцией Лопатина. Кроме того, мы надеемся осенью же выпустить целый сборник статей студентов и профессоров — членов нашего общества. Цель общества служить для студентов оплотом академической свободы. Они приглашают, кого хотят, слушают, кого хотят, занимаются, чем хотят. Забастовки и "обструкции" против общества не должны иметь места, оно создано самими студентами, и во время беспорядков его деятельность не должна прекращаться.

Общество создало уже свою маленькую библиотеку, может быть, и Вы дадите ей что-нибудь из Ваших изданий. Товарищем председателя состоит Новгородцев, который заменит меня по отъезде моем заграницу. Прилагаю при сем устав нашего общества. Мы хлопочем теперь об изменении этого устава, выработанного самими студентами, в том смысле, чтобы нам

разрешили сохранять, хотя и без права голоса и участия в распорядительных заседаниях, тех из членов, которые по окончании курса пожелают посещать наши собрания и уплачивать членский взнос".

Примите уверение в глубоком моем уважении и горячей преданности.

Ваш С. Трубецкой.

Приложение 20.

Письмо С. Н. брату Евгению от 24 июня 1902 г.:

"Милый Женя! Что ты скажешь хорошенького? Я ничего особенно хорошенького не скажу, да и особенно плохого тоже. Живу потихоньку и треплюсь из Меньшова в Москву. Дома перевожу Платона и пишу к нему рассуждения. (Перевод "Творений Платона" был начат В. С. Соловьевым, которому смерть помешала его закончить. По просьбе К. Т. Солдатенкова С. Н. вместе с М. С. Соловьевым (братом покойного В. С.) взялись закончить этот труд. В предисловии ко второму тому С. Н. рассказывает, что В. С. первые дни своей болезни говорил о своем переводе, которым живо интересовался. Вместе с тем он находился под потрясающим впечатлением китайских событий, которые он предсказывал задолго до их наступления, и в которых видел первых предвестников суда Божия, развязки великой драмы всемирной истории. Он сравнивал конец 18 века с концом 19 в., конец старого порядка в Европе с тем, что являлось ему концом великой магистрали европейской всеобщей истории.

"Как же при этом заниматься Платоном, если конец Европы настанет? сказал ему полушутя С. Н., - Стоит ли это делать, если китайцы все возьмут?". — "Этим стоит заниматься, — отвечал он, — надо, чтобы было еще что брать". "То, что сделано европейскими народами в области политической, в деле государственного и общественного строительства, это — погибнет, потому что построено на ложном основании, и потому что христианство их мнимое… а дело греков было в области вечных форм истины и красоты… это останется".)

Пишу статейки для различных изданий. Гуляя, размышляю о пустяках и о бессмертии души или смотрю в окно, как дождик идет… Вчера мне минуло 40 лет, и я смотрю на себя, как на теперешние поля: дай Бог, чтоб дождик перестал, чтобы хлеб убрать!.." Какая грусть в этих строках, и как обвеяны они сознанием близости конца и того, что не успеть ему сказать все, что уже созрело в нем за эти годы…

"Каковы твои планы? — писал он далее в том же письме. — Хорошо, если б привез статью о Ницше для нашего журнала. Удивляюсь твоему терпенью возиться с этим дегенератом, гипер-эстетом. Оно, положим, — стихотворение в прозе, но если б их был один томик, они бы выиграли. Покойный Преображенский говорил про Ницше, что он производит на него впечатление чудесного "скерцо", но это "скерцо" длиннее Вагнеровских опер

вместе взятых. Положим, Ницше симптом, и сумасшествие его симптом, и, в особенности, популярность этих записочек сумасшедшего тоже симптом для нашего века вообще, а для Германии в частности. Он отомстил за Герберта Спенсера, которому Германия доказала, что индустриализм и милитаризм могут развиваться об руку: Ницше показал, какие мыльные пузыри происходят от соединения этой соды и этой кислоты. Он есть продукт стошнившего от самого себя демократизма. Точнее — слава его есть продукт такого рода реакции. Но самая эта слава демократизируется все более и более: дешевое сверхчеловечество льстит всего более именно публике второго класса (как и дешевое сверхискусство декадентов); а между тем, самая худшая из демократий есть именно демократия второго (не третьего) класса; здесь то Ницше опошлится в конец!

Преображенский об этом скорбел, не сознавая, что пошлость есть Немезида Ницше".

К ГЛАВЕ 3-й

Приложение 21.

Письмо С. Н. к брату Евгению, июль 1902 г.:

На-днях еду в Петербург по одному из моих дел и пойду к своему министру. Хочу с историко-филологическим обществом через год ехать в Константинополь, Трою и Афины и потому выхлопочу себе удешевленный проезд до Одессы или Севастополя, если можно, даром, если нет, то по закону 1/4 билета 3-его класса, как полагается для экскурсий, а затем договориться с русским Обществом или Добровольным флотом через посредство влиятельных друзей. Мои студенты в восторге от этого плана и в случае успеха будут целый год готовиться к этой экскурсии, слушать специальные курсы и запасаться средствами. Я имею смелость думать, что на 25 дней хватит по 50 руб. с рыла, — при "отеческом попечительстве правительства", на которое я очень рассчитываю. Аргументов у меня столько, что и не перескажешь: во-первых, "отеческое попечение", во-вторых, воспламенение любви к классической древности и приращение знаний; хоть раз филологу посмотреть на то, о чем он всю жизнь читает.

В-третьих, моральные действия — прямые и косвенные.

В-четвертых, — жизненность легальной студенческой организации и живой чисто академический интерес такой организации.

В-пятых — если нужно, патриотизм, возвращение через Болгарию со скандалом.

В-шестых- опять "отеческое попечение". Хочу ехать в конце будущего августа и вернусь в половине сентября — через Киев: устройте нам встречу. Экскурсии Общества разрешены нашим уставом, вся штука в возможном удешевлении. Сведущие люди говорят, что нам удешевят наверное. Как тебе нравится этот план?"

Приложение 22.

Письмо к брату Евгению, январь 1903 г.:

"Имею сообщить тебе много любопытного… Во-первых, получив предложение выбрать кураторов, мы окончательно и навеки их провалили. Отчасти могу приписать это себе. Я понял, что Совету наступил момент победить и заставить себя уважать, и нашей компании удалось добиться своего. В результате, мое предложение прошло единогласно, а по предложению Хвостова, Совет отправил в Петербург ректора, который представил министру наше общее решение. И министр согласился… Этого мало: в замену кураторов Совету предоставляют избирать комиссию со своим собственным председателем для заведования студенческими делами, комиссию в состав которой входит ректор: это учреждение фактически существует у нас уже полтора года и теперь получает санкцию специально для Московского университета. Вместе с тем специально для него будут нами переделаны правила для студентов. При свидании расскажу тебе чрезвычайно любопытные подробности. Наши мотивы следующие: 1) фактическое существование названной комиссии: учреждение кураторов было бы проявлением неодобрения и недоверия к нам; 2) чрезвычайно успешное развитие студенческих внекурсовых организаций: одно мое общество — около 800 членов — в своих 10 секциях занимает 20 профессоров и приват-доцентов, при чем заседания происходят почти ежедневно. По примеру нашего Общества возникают медицинское, художественно-литературное, касса взаимопомощи и т. д.; 3) для курсовых совещаний остаются лишь вопросы политические или суд над отдельными представителями университетского и общего начальства, суду не подлежащими; 4) в кураторы никто не пойдет, потому что все заняты, и "отеческое попечение" и без кураторов процветает; 5) nomen ipsum curatorum apud professores odiosum est. (Оказывается, профессора встретились с Его Величеством, который тоже находит это название весьма неудачным).

Слава Богу, министерство наше положительно много разумнее и благонамереннее всех предшествовавших, почему оно вняло нашей просьбе, вникнувши в дело. Мы объяснили, что с нашей стороны было не ослушание, а, наоборот, действительное "попечение". В результате нам дают денег на экскурсию!"

Приложение 23.

Письмо С. Н. к Б. Н. Чичерину:

"Не стану оправдываться перед Вами за раздел Китая. Грешен, но ничего не могу поделать, — уж очень я терроризирован. Сам знаю, что его не поделят, но знаю и то, что оттуда не уберутся, не уйдут, отступления нет или, что то же, его не будет. И создается невозможное- положение, начнется страшная борьба с монголами на всё грядущее столетие, борьба, в которой мы еще более одичаем и осамодержимся. Я не понимаю, как этого не будет: Китай больше не может спать, не может не вооружаться, разве это трудно? Ведь Япония доказала, что это легко, ведь оружия и теперь в Китае множество. Надо только, чтобы китайская армия стала немножко приличнее, чтобы три или четыре китайца могли побить одного из нас, вот чего я боюсь, и чего можно бояться. Надо быть пророком, чтобы этого не бояться, ибо по естественным соображениям это слишком возможно.

Как делить Китай, и возможно ли сделать это теперь? Это вопрос другой, я думаю, что раздел возможен теперь или никогда, но обсуждать проект раздела — занятие бесполезное, ввиду того, что раздела не будет — на это у государственных людей Европы не хватит ни мудрости, ни энергии, а "политику открытых дверей", которая окончательно разбудит и вооружит зверя, ему навяжут непременно. Для меня вопрос ставится так: может ли Россия, может ли Европа бороться с Китаем? Если нет, то наша историческая судьба предрешена во-первых, в Азии, а затем по этому самому и у себя дома. Вот тяжелая мысль, которая меня угнетает, и я крайне желал бы убедиться, что тревога моя смешна и напрасна".

Приложение 24.

Письма С. Н. к жене с дороги и во время пребывания в Греции:

"Очень тоскую. Вчера вечером лег опять в 9 час. один в огромном купе с С. Глебовым (С. Глебов, родной племянник С. Н.,

студент.), которого на ночь взял к себе. Днем опять больше сижу у себя. Молодежь веселится по-детски: поют песни и по очереди бегают править паровозом под руководством машиниста и снимают его из маленьких кодаков. От всего в восторге, и всем довольны. Иван от меня не отходит и смотрит за мной, как нянюшка. Сегодня остановка в Курске. Нам устроили громадный зал и отличный завтрак за 50 коп. с персоны, тут только я понял, как нас много вместе, и как много хороших студентов. Держат себя замечательно сдержанно и прилично. Левушка (Лопатин) совсем поражен, Н. В. Давыдов в восторге".

Едем без приключений. На станции Артаково хотели отцепить, но уладили недоразумение и продолжали ехать с почтовым. То же было и в Киеве, где провели всего час. Потешно было, как в Артакове более ста студентов кричали на начальника поезда, но надо отдать справедливость, — сразу умолкли по моей просьбе. Вообще умны необычайно, и Левушка ставит им 5+ за поведение. В Конотопе за несколько часов до нашего проезда были большие беспорядки: четверо рабочих убито, станция разгромлена. В Киеве путь охраняется войсками".

По прибытии в Одессу С. Н. писал жене 3 августа:

"По прибытии сюда мы были великолепно приняты и помещены в Ришельевской гимназии, где нас кормят до отвалу. Погода не жарче, чем у нас, но море дает свежесть. Все купаются целый день, и я тоже купался: температура 18° или 19° и отличная, совершенно безопасная плажа, так что я не боюсь за моих экскурсантов.

На другой день по приезде ко мне явился дипломатический агент с шифрованной депешей от Зиновьева: "Ввиду неудобств, связанных с многодневным пребыванием экскурсантов в Константинополе, передайте Трубецкому, самое лучшее ехать пароходом прямой Александрийской линии прямо — Афины". Наряду с этим была депеша от (брата) Гриши (Брат С. Н., кн. Г. Н. Трубецкой.).

Можешь себе представить общее разочарование. Но тут мы опять могли убедиться, как дисциплинировалась моя молодежь, до чего мило и безропотно сразу все подчинились. Правда, все им ново и все их тешит, но отказаться от Константинополя было тяжко. Я поехал к попечителю, который велел нас держать и кормить до середы. Я, разумеется, запротестовал и в результате за самое роскошное содержание с нас теперь берут по 40 коп. в день. Вернувшись от попечителя, я нашел дома письмо от Гриши, пришедшее одновременно с его депешей, где он объясняет мне, что препятствия к нашей экскурсии не со стороны Константинополя, а со стороны нашей дипломатии, которая

собиралась предъявлять Турции какие-то требования и не желала нашего визита в это время. Он прибавлял, что, если наши требования будут удовлетворены, и гроза из Петербурга разойдется, то нас пустят осматривать Константинополь: письмо это было помечено четвергом, а в субботу я уже получил депешу, чтобы мы ехали, и что мы можем осмотреть Константинополь. Эта депеша огорчила моих мальчиков хуже первой: она была получена за час до отхода парохода, и было уже слишком поздно собираться. Человек 10 наших ушло на весь день, а агентство, получив от нас отказ, пустило других пассажиров и перевезло все кровати на другой пароход, идущий в среду.

Поднялся общий вопль, когда за нашим обедом дипломатический агент сообщил эту депешу: кто кричал: "ехать, ехать сейчас", кто искал товарищей, — единственный случай увидать Константинополь упустить нельзя, а между тем, с следующим пароходом, всего один день стоянки. Ввиду этого я сразу принял решение — сдать экскурсию Н. В. Давыдову и немедленно поехать в Буюк-Дере, чтобы там переговорить с Зиновьевым, и, если возможно, при его помощи устроить все, т. е. стоянку в Константинополе и осмотр. Русское Общество, в принципе, согласилось простоять там, если нужно, три-четыре дня. Конечно, я не буду просить посла, а только устрою дело, если, действительно, препятствий нет. Три дня я проживу у Гриши и в четверг отправляюсь на пароход из Буюк-Дере и въеду со всеми в Константинополь. В Одессе все налажено, все помещены роскошно и ведут себя прилично. Пароход "Николай II", самый большой изо всех, приготовлен, стоит и ждет, программа до середы утром установлена: сегодня Русское Общество катает студентов на своем пароходе по окрестностям Одессы, завтра катание на яхтах от Яхт-Клуба и осмотр порта, доков и судов; после завтра поездка в Аккерман. В Одессе к нам присоединилось еще несколько из наших студентов и, кроме того, Мануйлов (неожиданно) и профессор Мальмберг, который по утрам читает лекции в нашем помещении об Акрополе и греческом искусстве.

Меня прибежали провожать почти все наши студенты. Дипломатический агент пришел в ужас и в крайнюю ажитацию. Он уверял меня, что об этих проводах узнают державы и выйдет дипломатический инцидент. Под конец он бросился меня целовать, и я простился, не зная — пьян ли он или спятил?

Теперь я сижу и еду: море неподвижное, зеркальное, опаловое и теплое, в каютах душно, но на палубе хорошо. Со мною П. Бутенев и Гучков (А. И.), которого я отчитываю… Он имеет убитый вид и сам сознает дикость своего поведения… Я ему

говорю, что его поездка может иметь либо трагический, либо комический, жалкий исход, и что его долг — очнуться… Если б он знал, до чего мне тоскливо и скучно ехать не в поход, а на простую экскурсию… Что мне еще про себя сказать? Изо всех впечатлений моих это самое сильное. А здоровье мое великолепно… Жаль только, что не удалось еще искупаться — это так бодрит. Встретил в Одессе А. Лопухина. Весь Юг в брожении, стачках, волнениях — тоже скоро Македония своя будет!

Предупредительность по отношению к нам — огромная. Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось".

Приехав в Буюк-Дере, С. Н. остановился у своего брата, князя Григория Николаевича, куда он было перетащил и А. И. Гучкова, но последний вскоре уехал-таки в Софию, хотя и "обещал клятвенно" С. Н. к бандам не присоединяться. Из Буюк-Дере С. Н. успел два раза съездить в Константинополь, осмотреть. Св. Софию и стены с семибашенным замком, которые он объехал верхом в сопровождении А. И. Гучкова.

"Про Босфор скажу, — писал он, — что я ожидал большего: сравнивать его с Неаполитанским заливом, или хотя бы с Рейном, около Ремагена — нельзя. Тона какие-то аляповатые, и постройки необычайно безвкусные. Есть, конечно, и очень красивые места, но, например, мне въезд в Стокгольм гораздо больше нравится. От Константинополя самое сильное впечатление, это, конечно, Св. София: как об ней не кричи, все-таки дух захватывает от этой легкости, гармонии и величия. Она выше всяких ожиданий, каковы бы они не были — это, действительно, единственное в своем роде "чудо света". Поэтичны стены, и я рад, что видел их вдвоем с Гучковым, без толпы в чудный синий день.

7-го августа мы с Гришей выехали на шлюпке навстречу "Николаю II", на котором шла экскурсия, встретившая нас криками "ура". На палубе меня облепили студенты и, как дети, наперерыв, принялись рассказывать, до чего им было весело в Одессе, где их буквально носили на руках. Город дал им завтрак с шампанским, ужин и бал на лимане. Они накупили несколько корзин роз и засыпали ими одесских барышень, у которых имели безумный успех. Одесские дамы явились провожать студентов на пароход и, как мне говорили, иные даже плакали. Затем Давыдов, Огнев и Лопатин сообщили мне, что в Одессе все говорят, что таких студентов там никогда не видали. Но, в сущности, мы сами такими их еще не видали, — такая деликатность, вежливость, предупредительность по отношению к нам и ко всем старшим и беспрекословное подчинение малейшему требованию.
В Константинополе все разместились отлично по подворьям, где афонские монахи угощали студентов: какой-то архимандрит даже

в ресторанах платил за них по счетам. В самый день приезда успели сходить только в св. Софию. На другой день разбились на партии смотреть музей, мечети, дервишей, базар. Во главе каждой партии были руководители от института, кавассы, и затем каждая конвоировалась нарядом из полицейских чиновников, командированных турецким правительством. Предупредительность турок громадная: полицейские предлагали студентам всюду возить их даром, на счет султана, всюду пускали даром и даже за переход через мост денег не брали. У меня на козлах, вместо кавасса, всегда сидел какой-нибудь полицейский, выраставший из земли, как только я брал извозчика или выходил из дома. К удивлению, и толпа настроена самым благодушным образом: на базаре в толпе кричали: "Не берите с них лишнего, они наши гости". И все это в минуту, когда наша эскадра стояла в 4-х часах от Босфора.

Видел я чудные здешние саркофаги и присутствовал на чортовых мефимонах у дервишей: это необычайно омерзительное препровождение времени, которое тебе известно по описаниям, и которого я тебе описывать не буду, так как ты не любишь описаний. Несмотря на дождь, ливший весь день, студенты бегали неустанно, осматривая все возможное (Разделившись на 2 группы, студенты осматривали оттоманский музей под руководством Ф. И. Успенского (завед. русск. археол. институтом в Константинополе), Р. Х. Леппера и проф. Мальмберга. Вечером в помещении института Ф. И. Успенский познакомил экскурсантов с задачами и главнейшими работами этого учреждения.). Иван их осуждал: ""Он" едет с научной целью — зачем "он" на базар бежит, где одна дрянь, Ваше Сиятельство? Монахи даже удивляются… зачем "он" трубку у простого турки торгует?" Я сделал все распоряжения и в 5 час. уехал в Буюк-Дере, чтобы там переночевать: утром встал чем свет, чтобы поспеть к посадке студентов на пароход, отходивший в 10 час. Дождь продолжал идти, но это не мешало общему веселию. Мы тронулись, и я лег спать. Благовоспитанности наших студентов нет пределов: вечером, на Мраморном море наш священник по просьбе команды служил всенощную, а студенты хором пропели ее и довольно стройно. Приехали в Смирну; сейчас едем на берег."

В Афинах у С. Н. непредвиденно много времени уходило на представительство, что вызвало в нем понятную досаду:

"Вот уже четвертый день, что я в Афинах, — писал он, — и еще толком ничего не видал — все бегаю с официальными визитами. Ты не можешь себе представить, что за чудной народ греки. Наш приезд (в этот курятник) политическое событие первостепенной важности. Сперва в нашу честь хотели

иллюминовать Акрополь и представлять Эврипида в театре Диониса. Но потом решили, что это все происки Королевы, России и Славянства, и что такого национального позора, как торжественный прием нашей экскурсии перенести нельзя. Одна газета предлагала в день нашего приезда закрыть все магазины в знак национального траура, другая — освистать нас, третья — разместить по клоповникам и кормить тухлой икрой. Всех лиц, которые стояли за наш прием, предлагалось шельмовать и ругательски ругали.

Ко всему этому примешалась какая-то филэллинка, графиня Ина Капнист, которая начала агитацию в нашу пользу с каким-то Пестанжогло, и в результате получился кавардак!.. Правительство испугалось, с одной стороны, все официальные встречи, спичи, приветствия, представления, иллюминацию отменили, с другой — испугались, что это нас и Россию обидит, и сделали всё возможное, чтобы искупить свою вину. Премьер-министр приезжал ко мне извиниться и долго, запутанно объяснял, что они слишком поздно узнали, и не успели и т. д. Я слушал милостиво и прощал.

Правительство предоставило в мое распоряжение особенный военный корабль, на котором мы будем плавать вокруг Греции от воскресения до пятницы, и по пути посетим Дельфы, Олимпию, Навплию, Коринф и т. д. В Олимпии в нашу честь будет дан праздник от археологического общества (на казенный счет). Полицеймейстер приставил ко мне для особых поручений особого городового, который состоит при моей особе, а министр — директора департамента древностей.

Газет здесь нет числа, и все нас ругали: но затем наступил поворот. Сперва полаяли, а потом завиляли хвостами. В каждом номере об нас статьи, известия, заметки. Корреспонденты ходят за мной, как собачки, и теперь только кому-нибудь что-нибудь скажешь, сейчас подхватывают и на другой день пишут чорт знает что. Сперва ругали всех, потом написали, что я несомненно богат и филэллин; потом, что все русские студенты филэллины; потом, что я в дурных отношениях с моим правительством; потом, что все студенты в дурных отношениях с правительством, и что потому нас надлежит вдвойне чествовать. В начале писали: "Позор благополучно миновал", — когда была отменена торжественная встреча, а теперь бегают за студентами и пишут статьи об их занятиях, впечатлениях, о их необычайном приличии, их костюмах, пище и шляпах. Описывают, как они купаются, и виноград едят, описывают мою, внушающую уважение, наружность и даже написали, что я ношу "чудовищную панаму", которая должна стоить по меньшей мере 5.000 франков.

Я сам это читал и здешний charge d'affaires просил ему показать эту редкость. Должен покаяться, что вид у меня растерзанный, но это только прибавляет ко мне уважение со стороны властей, когда они ко мне являются. Не беспокойся, однако, когда я езжу с визитами, я бываю tout ce qu'il y a de plus приличен (сюртук и фланель) и изъясняюсь на таком французском языке, какого здесь не слыхали. Все это чрезвычайно комично, но бесило меня, потому что все бегают по древностям, а я занимаюсь визитами. Надеюсь, кончил сегодня представлением диадоху (наследнику). Пока я успел видеть лишь музей и акрополь при закате солнца. И то и другое, а в особенности акрополь, превзошли мои ожидания. Мне кажется, — я видал виды красивее, но никогда не видал пейзажа более одухотворенного. Конечно, тут большую роль играют воспоминания: но, во-первых, эти воспоминания материализируются здесь во всех очертаниях местности и в памятниках, а во-вторых, и это — общее место, — ландшафт, линии гор и скал и вырез островов сами имеют здесь архитектурную красоту. Кроме того, я нигде такой дали как здесь не видал — в одно и то же время и синей и прозрачной. Это именно волшебная даль. Здесь я впервые понял, что такое этот "воздух" греков, который является какою-то видимой, живой, одухотворенной стихией.

Жарко здесь очень, но жара переносится несравненно легче, чем у нас, потому что нет тяжести и духоты. Каждый день у нас делится на две части: от 7-12 и от 4-х час. вечера. В это время студенты, разделившись на 3 группы, с тремя специалистами во главе, осматривают древности с величайшим неутомимым рвением, несмотря на палящее солнце. Романович с С. Глебовым и другими ходят на Акрополь смотреть восход солнца. С 12 до 4-х отдых, обед и купание в Фалероне (1/2 час. по трамваю). В море 25° Реомюра и после купания окатываются свежей водой. Более синего моря я не видал. Купаюсь ежедневно и чувствую, что это мне полезно — несмотря на жару и суету я устаю несравненно меньше, нежели в мои поездки в Москву.

В субботу 16 мы были в Элевзисе. Одна половина экскурсантов поехала утром на лошадях по священной дороге, — другая по железной дороге с тем, чтобы поменяться на обратном пути. Я избрал последнее. Странное впечатление — прочитать "Элевзис" на маленькой станции — меньше нашей "Климовки" (Климовка — полустанция по Курской дороге (на пути в Меньшово) переименованная впоследствии в Гривно.), домик с двориком под крышей из живого винограда с гроздьями, которые можно рвать прямо с потолка. Экипажи уже приехали и ждали нас. Мы обошли развалины громадного храма, расположенного

террасами на берегу очаровательной бухты. Кругом деревня, поля, оливки и море, которое глубоко врезается в берег. На заднем плане холмы, которые отделяют Элевзис от соседей. От храма уцелело только основание и обломки, по которым виден отчасти архитектурный план, видны основания колонн и их обломившиеся капители, триглифы и т. д. По этим кусочкам можно при помощи объяснений строить себе в воображении нечто очень величественное. Но для того надо много потрудиться. Нужно стать археологом-архитектором, вроде Дерптфельда, которого мы слушаем в Афинах (Проф. Дерптфельд прочел экскурсантам 2 лекции: 1) о раскопках в Трое, 2) о том, что Итака Одиссея не есть Итака, а Левкадия. Лекции иллюстрировались снимками, которые демонстрировались при помощи волшебного фонаря.) а кругом такая ласкающая красота этой дивной бухты, совсем голубой, такого голубого цвета, какой в других местах только на небе бывает, и так чувствуется прозрачность воды, что археологическим изысканиям предаваться не хочется. И, тем не менее, всё-таки и развалины влекут к себе и невольно к ним возвращаешься, когда толпа уходит. Это кладбище богов, и все эти обломки колонн, даже с внешней стороны похожи на какое-то кладбище. И вместе с тем, — будь ты археолог или нет, одни эти обломки колонн невольно заставляют твое воображение продолжить их очертание, иногда они прямо грезятся, и перед тобой встает воздушный призрак. С развалин мы, конечно, пошли купаться, а потом завтракать. Завтрак был заказан на славу. В Афинских кухмистерских нас кормят чорт знает чем, хотя и дешево, а тут все натуральное — яйца, жареные на вертелах целые бараны, салат из томатов, дыни, виноград и вино со льдом. С Одессы мы не собирались ни разу все вместе и при том в деревне. Все развеселились, и сразу началось какое-то неудержимое веселье, gaudeamus, русские песни и под конец трепак в присядку. За дорогу успел спеться и подобраться отличный хор, есть несколько прекрасных голосов и три умелых регента: трудно описать, что это было. Элевзис, во всяком случае, такого вакхического веселья с древних времен не слыхал. Кругом собралась толпа смотреть и слушать, нас угощали, а под конец, когда завтрак кончился, с нас так и не приняли денег. Затем разошлись — кто пошел в Афины пешком (20 верст), кто опять купаться, ловить губки, морских гусей и змеевиков, а мы вернулись по жел. дороге. Извозчики не дождались, и уехали пустые, так что священной дороги мне видеть не пришлось. (Дорогу эту описал А. И. Анисимов. ("Экскурсия студенческого Общества в Грецию", Москва 1904 г.).

"Священная дорога в Элевзис… В древности ежегодно осенью

по ней двигались священные процессии к морю. Путь лежит все время среди лесистых гор и отличается редкой красотой, особенно в том месте, когда между расступающихся скал на вас вдруг глянет смеющееся изумрудное море. Остатки древнего святилища, даже в теперешнем их виде, когда на месте сохранились лишь фундаменты храмов, базисы колонн, да мраморные плиты священной дороги, дают полную возможность восстановить в воображении великолепную картину былого величия Элевзиса, расположенного на береговой возвышенности, храмы поднимались друг над другом по направлению к морю и на его лазурном фоне, сливающемся с синевою дальних гор, должны были производить впечатление мраморного колосса, вздымающегося высоко к небу целым лесом колоннад. На самой вершине каменистого холма, где помещался прежде когда-то древний Акрополь, теперь одиноко высится маленькая старинная греческая церковь"…). Вино со льдом мне, однако, даром не прошло. Ночью у меня сделалась холерина с адскими судорогами в ногах. Я разбудил Огнева, который моментально сделал мне компресс и заставил растирать ноги… К утру послали за другим доктором, Балиновым (из Мещерского), который оказался удивительно милым и энергичным прекрасным врачом. Я так ослаб, что не мог говорить и даже двинуться. Тем не менее, общим советом решено было, что мне все-таки лучше быть, даже больному, на пароходе, среди врачей, в дивном воздухе, чем в Афинах, где пыль, духота и шум невообразимые. Вечером меня спустили в коляску и с Иваном отправили в Пирей на пароход, а там моментально уложили в каюту"…

Это военное судно "Канарис", данное греческим правительством в наше распоряжение. Мне на море сразу стало лучше, и силы вернулись — я заснул и проснулся утром в Коринфском заливе.

18 августа, рано утром, мы приехали в Дельфийский порт, где нас встретили довольно радушно население и местные власти. Я был еще весьма слаб, сутки не ел и потому сел в коляску с Лопатиным, а не на осла. Остальные поехали на чем попало: на ослах, лошадях — было пять-шесть экипажей. Дорога замечательно красивая, сперва оливковой рощей, а потом высокий и продолжительный подъем вверх с видом на море и высокие горы. Я никак не подозревал, что Дельфы так высоко в горах: подъем два часа на лошадях. По дороге, в деревушке Крисе, была встреча: девушки, дети кидали в нас цветы, а мэр и школьный учитель говорили речи: я даже отвечал по-гречески, что вызвало большое удовольствие, и на другой день в газетах была телеграмма, что князь Трубецкой, "хотя и больной

холериной", сказал, что мы счастливы, что наша мечта исполнилась, и что мы посетили Элладу, которой мы более благодарны, чем все прочие народы: те получили от нее искусства и науки, а мы также и нашу веру. Эллины наши учителя. Для меня был сюрприз, что читать здешние газеты я могу без труда, а при некотором усилии могу связать и несколько слов.

Дельфы произвели на всех нас большое впечатление необыкновенной красотой горного пейзажа и фантастической обстановкой, расположением древнего святилища, расположенного по очень крутому склону горы. Самых развалин я почти не осматривал, так как совершенно не в силах был карабкаться по скалам в течение двух часов: я видел только общий вид их да музей, расположенный в изумительно красивой местности. Завтрак был устроен у Кастальского источника, который течет в колоссальной, узкой, отвесной расселине, той самой, где Пифон гнездился. Там под платанами на краю глубокого обрыва соорудили стол на 150 чел. и во время завтрака играли какую-то совершенно одуряющую, оглушительную музыку на двух дудках и колоссальном барабане. Одну такую дудку я везу Владимиру, но при всех моих усилиях я не мог извлечь из нее ни единого звука: должно быть, чего-нибудь в ней не хватает. Поздно вечером, уже при луне, вернулись домой и легли спать. Я за весь день выпил 2 чашки черного кофе с сухарями и съел один желток.

Утром я был разбужен шумом чего-то упавшего в воду: я взглянул в иллюминатор и увидал Генике, который организовал купанье. Я не выдержал и, как был, прямо с кровати выскочил на палубу и, несмотря на протесты докторов, бросился в воду. В воде не меньше 23°, так что, кроме пользы, это купанье мне ничего не принесло. Действие происходило в Катаколо, откуда мы, разумеется, одетые, отправились в Олимпию на экстренном поезде, нами заказанном.

Там уже природа совсем другая, — поразительное разнообразие греческих ландшафтов. Ничего сурового, много зелени, когда кругом всё выжжено, tout est riant. Вся Олимпия в холмах, образующих как бы естественный стадий настоящее место для игр: какое-то веселое праздничное настроение чувствуется во всей местности. Чудный музей, который мы долго и с толком рассматривали, разделившись на две группы, и чудные развалины. Когда я взошел на порог храма Зевса Олимпийского и слушал объяснения, рассматривая архитектурные планы и реставрации, j'ai eu un moment d'emotion. Невольно встают двойные колонны, обломки которых тут находятся, и какая-то тень грезится над черными камнями, лежавшими под

Фидиевскими истуканами: а кругом остатки храмов и жертвенников всех богов, развалины сокровищниц всех народов Греции.

В Олимпии нам давали торжественный завтрак-обед на 155 чел. от греческого археологического общества с политическими и иными речами. С нами был Смирнов, греческие офицеры, Кавадиас, представители прессы и т. д. Мне пришлось отвечать экспромтом по-французски так, чтобы политики не было: я говорил вроде, как со школьным учителем, и хотя совершенно не обдумал, что скажу, но вышло вполне прилично и, главное, тактично, так что меня одобряли. Студенты вели себя прекрасно, и потом греческая печать единогласно всех нас хвалила. Вернулись мы на корабль уже ночью и опять купались при полной (почти) луне. Потом был ужин, на котором студенты съели 70 гусей и много другого.

20 утром приехали в Коринф. Я с раннего утра сидел на палубе и любовался чудными берегами залива. Если я выражал особое удовольствие по поводу какой-нибудь местности, пароход моментально туда направлялся. Благодаря этому мы прибыли в Коринф только в 12 час. и, выкупавшись, высадились на берег. Студенты и мы все поехали или пошли в старый Коринф (за 4 версты), где находятся живописные развалины древнейшего храма Афродиты и замечательно любопытные раскопки американской школы, обнажившие на большой глубине остатки древнего Коринфа, замечательно сохранившиеся. Я там застрял, вместе с наиболее солидными и ленивыми, и при помощи Кавадиаса часа три осматривал эти раскопки. Молодежь большей частью вскарабкалась на Акрокоринф, почти отвесная высота с остатками генуезской крепости, откуда открывается громадный вид на два моря, и виден Афинский Акрополь. Туда надо влезать более 2-х час., и я не пожалел о том, что остался, так как видел поразительный закат солнца с развалин храма Афродиты. Вечером опять возвращение на пароход, купанье, продолжавшееся всю ночь, а в пятом часу генеральное купанье перед отъездом в Арголиду. Экстренный поезд был назначен в 51/2 утра.

Это был самый утомительный изо всех дней: в 71/2 до 103/4 Микены; от 12 — 4-х Навплия, где пришлось подняться в полуденный зной по лестнице в 1.000 ступенек счетом, — нечто кошмарное, на живописнейшую крепость, в которой содержатся преступники, осужденные на смертную казнь; в 41/2 до 5 развалины Тиринфа; в 51/2 до 61/2 развалины Аргоса, а в 9 час. торжественный обед в Коринфе, который мы, по настоянию Н. В. Давыдова, опять-таки с речами давали грекам и офицерам. Этот обед останется мне долго памятен по той суматохе, которая в это

время шла между студентами из-за посадки на пароход, чуть было не окончившейся скандалом. На другой день благополучно вернулись в Афины, где должны провести еще 3 дня. Всех впечатлений, анекдотов, рассказов не передашь — des journees bien remplies.

Пока могу сказать в общем, что поездка оказалась очень удачной. Только одно серьезное заболевание — один студент ехал больной, и в Афинах у него оказался легкий тиф. Его поместили в офицерскую палату в русский госпиталь королевы, где за ним идеальный уход. Он вне опасности и поправляется. Остальные заболевания от злоупотребления виноградом — пустячные, у всех благополучно проходившие.

Далее, поездка оказалась дешевле, чем мы думали, не дороже 70, вероятно, 60 руб. с человека (Стоимость поездки обошлась, в конце концов, еще дешевле в 55 руб. с человека, включая сюда проезд из Москвы до Пирея и обратно, стол, помещение, все поездки в Греции на лошадях и по железной дороге, а также и общие расходы и взнос каждого экскурсанта на образование небольшого фонда в 500 руб. для будущих экскурсий Общества. Уменьшению личных расходов каждого экскурсанта способствовало приобретение около 300 костюмов, выписанных по заказу из Вены через фирму Мандль: эти тропические костюмы цвета faux khaki из очень прочной и немаркой материи составляли общую походную форму и обходились от 2 руб. 80 коп., тужурка и брюки, до 3 руб. 50 коп. пиджак, брюки и жилет. По ходатайству С. Н. они были освобождены от таможенного сбора.). Только нам она обойдется не дешево, благодаря представительству. Признаться, я всего ожидал, только не того, что мне придется занимать роль какого-то "представителя", получать почести, словом, быть официальной персоной с визитами, речами, тостами и т. д., меня даже сделали кавалером какого-то греческого ордена — первого в моей жизни. Это отнимало массу времени и надоедало мне пуще всего! Жара была очень сносная. Все-таки даже в Афинах "бриза" есть, а при нашей tournee, кроме Олимпии, совсем не было жарко."

Подъезжая к Одессе, с парохода С. Н. писал 29 августа:

"Последние дни в Афинах прошли прекрасно: и обед, который давала в пятницу графиня Ина Капнист всем студентам, праздник в нашу честь на русском броненосце, в Фалере, от нашей эскадры; ночь на Акрополе при полной луне; обед у Смирнова, наконец, отъезд — все это вперемежку с купаньем, визитами, интервьерами. Мне жаль, что я не был простым участником экскурсии, (впрочем тогда я бы не поехал), потому что мне удалось видеть меньше, чем другим… Едем очень благодушно с

удивительным комфортом — мне и здесь дали директорскую каюту.

Мне приходилось путешествовать не раз, но никогда не приходилось в такой степени, как в эту поездку, изо дня в день из часа в час поглощать в себе столько разнообразных впечатлений, столь быстро сменявшихся, жить исключительно восприятием".

Приложение 25.

В сохранившемся черновом наброске статьи С. Н. находим яркую картину своеобразной греческой жизни:

"Все, что мы слышали о нравах современных греков, (мы, лично, не могли наблюдать частной жизни), рисует их с симпатичной стороны: гостеприимство, умеренность, мало того, относительно большая строгость нравов составляет их особенность. Потребности скромны, роскошь почти отсутствует. Жизнь в Греции чрезвычайно дешевая, драхма (25 коп.) имеет покупную цену нашего рубля. Люди богатые, получившие европейское образование, живут иногда совсем по-деревенски. Полной простотой, отсутствием какой-либо внушительной показной обстановки отличаются и присутственные места. Иные приемные министров напоминают помещения наших участков или иные камеры мировых судей: ход со двора, по грязной лестнице, грязный досчатый коридор, где толпится всякий сброд и, наконец, самая приемная — небольшая комната с досчатым полом.

Совсем другое впечатление производит на случайного туриста общественная и политическая жизнь греков, более поддающаяся наблюдению: как в древней Греции, она протекает на глазах у всех, отчасти даже прямо на улице.

С утра до ночи вы можете видеть в кофейных многочисленных и с виду совершенно праздных представителей афинского демоса, которые пьют кофе, воду с мастикой или лимонад, читают газеты, рассуждают о политике.

Невольно спрашиваешь себя, каков постоянный род занятий этих уличных политиканов? Чем живут, когда работают эти сограждане Сократа, подобно ему проводящие жизнь на улице в беседах о делах человеческих? Не получают ли они некоторую мзду за свое участие в делах родного города, как во времена Перикла? За участие в политических манифестациях они, несомненно, получают, хотя и сущие гроши, от заинтересованных лиц и партий, но, по-видимому, они и бескорыстно, по собственному влечению готовы манифестировать шумной толпой

при всяком удобном случае, как рой шумных насекомых, увлекаемые общим безотчетным возбуждением.

Во время нашего пребывания в Афинах манифестации происходили ежедневно: через месяц предстояли выборы городского головы. И вот, каждый вечер сторонники теперешнего головы, г. Меркуриса, получив подкрепление из Пирея, отправлялись к нему в "салон", т. е. попросту и без евфимизмов, на двор, где он их принимал и произносил им речь, среди восторженных кликов и взрыва петард. Затем он пускал им несколько ракет с разрывными гранатами, откуда сыпались портреты виновника торжества, после чего приверженцы Меркуриса удалялись шумной процессией с криком: "Меркурис! Меркурис!" То же самое происходило в то же самое время в "салоне" г. Ангелопуло — противника помянутого Меркуриса. Обе процессии ходили ежедневно по городу, иногда с музыкой, бенгальскими огнями, петардами и выстрелами, тревожа сон мирных обывателей. Так называемые "люстры" (чистильщики сапог), играющие большую роль в уличной жизни, пирейские босяки и, наконец, уличные мальчишки составляют главный контингент этой армии манифестантов. Живо помню одного восьмилетнего карапузика, который кубарем подкатился мне под ноги с яростным криком: "Меркурис!" Он, очевидно, принимал меня за сторонника Ангелопуло, и если б я ему ответил криком: "Ангелопуло", я подвергся бы нападению.

Эти уличные сцены занимали нас по вечерам, когда мы часам к 9-10 сходились посидеть за столиками на площади Конституции, где регулярно проходили манифестанты. Возбуждение возрастало со дня на день, при встречах происходили драки, перешедшие в кровопролитные, когда револьверы сменили петарды, и началась пальба.

"Хорошо, что студенты уехали во время, — пишет нам один из наших афинских друзей, — у нас ежедневные беспорядки, город прямо на военном положении, конные патрули, пикеты на улицах. Но это ничему не мешает, и на-днях на улице Стадия было настоящее сражение. Я сам слышал около сотни револьверных выстрелов. Несколько человек было убито, около 16 ранено… Должно быть, сладко умирать за Меркуриса". При этом надо принять во внимание, что выборы Меркуриса, состоявшиеся недавно, были безусловно обеспечены уже в начале августа, так что вся эта электоральная борьба представлялась, по-видимому, лишней. При каждой новой ракете или новом выстреле мы невольно себя спрашивали: неужели они прибавят шансы избираемого? Казалось бы, за один скандал ему можно было бы класть налево. Заметьте при этом, что г. Меркурис и г.

Ангелопуло или Каменолопуло, как его называли наши экскурсанты, представляют собой не принципы, а личные партии: Ангелопуло — кандидат Делианиса, а Меркурис — Феотокиста, противника Делианиса. То же самое происходит и в области высшей политики. Феотоки, бывший министр, враг Делианиса, а г. Раллис, глава теперешнего министерства делианист.

Мы долго старались понять, из-за чего тут собственно прошибать друг другу головы. Помню один горячий спор, в котором участвовали врачи, журналисты, один банкир, один ученый. Этот спор был вызван моим вопросом о принципиальной разнице между помянутыми вождями партий: одни утверждали, что разница в вопросе о сокращении бюджета на 5 миллионов рублей, другие настаивали на том, что разница в принципе. Но самый принцип, по-видимому, заключался в коринке, и спор сводился к вопросу о коринковой монополии. Впрочем, сегодня коринковая монополия, вчера — перевод Евангелия на новогреческий язык в фельетоне какой-нибудь афинской газеты — все это предлоги для уличных движений, которыми пользуются все эти Феотокисы, Делиансы, Раллисы и Меркуриосы.

Партий принципиальных, как в других парламентских странах — незаметно: есть личные партии Иван Ивановича и Петра Петровича, и все — эти Костаки и Разорваки интригуют друг против друга, пользуясь самыми различными предлогами и пускают друг против друга имеющиеся у них под руками средства. Главнейшим из таких средств служат уличные беспорядки, устраиваемые при посредстве всякого сброда, "люстров", уличных мальчишек и босяков — и прессы, которая, несмотря на неограниченную свободу, занимает очень жалкое положение и не пользуется особым уважением греческого общества. Один грек уверял меня, что в газетах пишут те же "люстры" и уличные мальчишки, которые манифестируют на улицах. Не знаю, насколько это верно, но мне приходилось слышать не раз, что иные сотрудники афинских газет под гнетом острой нужды ищут себе мест в качестве прислуги или лакеев. То же делают, впрочем, и студенты афинского университета, как на это указывает даже путеводитель Мейера.

Читая греческие газеты, вслушиваясь в речи и политические разговоры, нельзя не дивиться какой-то острой мании национального величия, которая выражается в необычайно напыщенной форме и соединяется с не менее тяжелой манией самого азартного и неизбежно мелкого политиканства. Былая слава Греции, ее могущество, ее культурное значение без остатка присваиваются современной Грецией. Греки говорят о Фемистокле и Перикле, как о своих премьерах, ближайших

предшественниках достопочтенных г.г. Ралли, Феотоки и "великого старца" Делиани, а о памятниках древней Греции, как о своих памятниках, забывая даже и то, что добрая половина из них раскопаны иностранцами: например, Дельфы — французами, Олимпия, вся Греция микенского периода — немцами, Коринф — американцами.

Один греческий сановник благодарил нас за то, что мы приехали посетить их памятники, чем вызвал мой наивный ответ, что это собственно не стоит благодарности, и что их памятники принадлежат всему человечеству. Он же спрашивал меня с упреком, зачем в России изучают древний, а не новый греческий язык, что было бы несравненно полезнее. За наше пребывание в Греции нам пришлось слышать многое против нашего и европейского классицизма. Эрасмовское произношение считают ересью, и с первого дня нашего пребывания в Афинах были сделаны попытки нас обратить и словом и делом — путем присылки брошюр. Истинный героический язык есть тот, на котором говорят греки, а не тот, которому учат в Европе. Археологии и древней истории также нужно учиться у греков, потому что историческая и филологическая критика Запада есть сплошное заблуждение, вызванное тлетворным сомнением.

Мы видели одного из последних могикан этой патриотической археологии, предостерегавшего нас от пагубного влияния Запада — очевидно, в лице знаменитого проф. Дерптфельда, лекциями которого увлекались наши экскурсанты. Спешу, однако, оговориться: у греков есть весьма солидные археологи, как например, Теунтас, известный знаток микенского периода, или Кавадиас, генеральный эфор (инспектор древностей греческого королевства), сделавший чрезвычайно многое для развития и правильной постановки археологического дела в своем отечестве. По-своему и г. Кавадиас являл нам образец греческого патриотизма, на сей раз, однако, свободного от шовинизма, патриотизма, просвещенного и гостеприимного, который и других стремится заставить полюбить дорогую родину и дать им почувствовать то, что в ней истинного, ценного и прекрасного. Он любит родную страну и как ученый и как патриот, и тот, кто любит древнюю Грецию, изучает ее, с любовью проникается древностью, тот является ему эллином по духу. Такое же отношение видели мы и со стороны других интеллигентных греков. "Преклоните колена перед святилищем Афины Паллады, перед развалинами храма панэллинского Зевса. Станьте гражданами духовной Эллады, не знающей границ и простирающейся за моря и горы". Так говорили нам наши греческие друзья и доброжелатели… Но у нас были далеко не

одни доброжелатели в Греции, и с первого взгляда могло показаться, что у нас гораздо больше врагов, чем друзей.

Мы приехали в Грецию в момент сильного политического возбуждения против России и славянства по поводу последних македонских событий. Как и все на Востоке, в македонском движении греки видят дело России и русского панславизма. Если всякий истый грек есть панэллинист, то ему представляется, что всякий добрый русский должен быть панславистом: иначе не может быть, и это не только в глазах греков, но в глазах всех балканских народностей, в глазах австрийцев и немцев.

Мы узнали, что в России господствует партия московских панславистов, руководящая нашей политикой вообще и балканской в особенности. Во главе этой партии, главная резиденция которой в Москве, находится самый популярный и влиятельный человек в России К. П. Победоносцев! И этой самой партией устроено и поддерживается македонское движение, которое угрожает не только Турции, но и Греции. Греки таят на нас много обид: во-первых, греко-болгарская церковная распря, в которой мы поддержали схизматиков против патриархата и в лице экзархата создали могущественный орган болгарской пропаганды в Македонии; во-вторых, последняя война, в которой мы обманули ожидания афинских политиканов; правда, в народе смотрят так, что если б не русский царь, турки были бы в Афинах, и нам пришлось это услышать в приветственной речи одного сельского учителя, но есть греки, которые утверждают, что война была проиграна благодаря России: не будь России, греки взяли бы Константинополь. Наконец, всего более виновата она в современном македонском движении. Понятно, что наш приезд в настоящую минуту даже несколько удивил греков…

Мы не станем повторять рассказ о той травле, которая поднялась в прессе по случаю прибытия экскурсии: в газетах сообщалось, что она наспех организована русским правительством с какой-то тайной, враждебной целью, а, может быть, и для того, чтобы усыпить внимание греческого народа и тем временем, под шумок, осуществить свои панславистские замыслы в Македонии".

Наряду с необыкновенно любезным приемом местных властей офицеров на "Канарисе" и, главное, самым радушным отношением сельского населения, такая враждебность свидетельствовала о каком-то двойственном отношении Греции к России, которое невольно остановило на себе внимание С. Н. Он писал по этому поводу:

"Сама по себе дружба или вражда маленькой Греции не имеет для России особого значения, но в этом сочетании любви к

России, веры в нее, надежды на нее и разочарования, озлобления и ненависти, скрывается факт общего значения: ведь то же самое повторяется и у болгар, и у сербов, и у румын… Басни о нашем панславизме смешны и нелепы, но, опровергая их, мы едва ли многое выигрываем в уважении тех самых руссофобов, которые их распространяют, и вместо того, чтобы смеяться над ними, полезно было бы выяснить себе, почему они так упорно держатся?

Хотим ли мы этого или нет, у нас есть великая историческая миссия на балканском полуострове, миссия, завещанная всем нашим прошлым. Но, в настоящую минуту, все другие народы — немцы, австрийцы, греки, славяне, турки помнят об этом и сознают гораздо больше и сильнее, нежели мы сами. Разочарование, наступившее после турецкой войны, полное крушение славянофильских идеалов в России и, наконец, современное тревожное состояние русского общества, все это временно заставляет нас забывать идеи, за которые еще наши отцы сражались. Этим объясняется, хотя и не оправдывается то поразительное равнодушие, с которым русское общество относится к событиям величайшей важности, разыгрывающимся на Балканском полуострове и к ужасной резне в Македонии, которая всполошила даже английское общество: к бурам мы относились с большим участием!

Такой индифферентизм, являющийся зловещим признаком общественной деморализации, мешает нам понимать настроение балканских народностей. Между тем эти последние видят в России защитника, судью, власть, облеченную не только силой, но и нравственным авторитетом. В России каждая из этих народностей чувствует оплот и надежду, но вместе и опасность для своих исключительных притязаний; узду для своих вожделений, и отсюда является самая сложная смесь всевозможных чувств по отношению к России — надежд, претензий — справедливых и несправедливых, разочарований, иллюзий, любви, благодарности, страха, ненависти. Всякий ложный шаг нашей политики, малейшая неискренность, могущая подать повод к иллюзиям, малейшая пристрастность или непоследовательность, могут вести к сложным недоразумениям… Мы так мало думаем о балканских народностях, что с трудом можем себе представить, что такое для них Россия, и до какой степени много она для них значит. Для народных масс она является здесь не только реальной силой, но нравственной величиной: это самый ценный результат русской восточной политики, и мы не должны смотреть равнодушно, как он разрушается вместе с нашим авторитетом. Многие, особенно в настоящую минуту, всеобщего упадка патриотизма, считают, что

для нас безразлично отношение к нам балканских народностей, и что стремление к поддержанию нашего нравственного авторитета среди балканских народностей есть пустое дон-кихотство. Но ведь помимо интересов нравственных, у нас есть и реальные политические интересы на Балканском полуострове, интересы, о которых невольно вспоминает всякий русский турист, переплывая проливы. А эти реальные интересы, т. е. верховная власть ключей, может быть достигнута нами поздно или рано лишь в том случае, если Россия будет на Балканах в действительности тем, чем она является теперь в идеале Балканских народностей, властью, облеченной и силой и нравственным авторитетом. В авторитете самый прочный залог нашего империума, и отречься от нашей миссии по отношению к нашей меньшей братии, балканским народам, значило бы отречься и от наших прав и наших реальных русских интересов.

В самом деле, откиньте авторитет, и что же останется тогда, кроме силы и насилия? А заменять оттоманскую империю, зиждущуюся на насилии, мы, очевидно, не можем, да и не хотим. Ни один здравомыслящий русский не думал никогда о насильственном захвате или присоединении Балканских земель и народностей. Основание нашей мощи на Балканах заложено прочно и зацементировано русской кровью. В настоящее время от нас требуется не столько материальных жертв, сколько нравственного мужества, последовательности, широкой и твердой политики, веры в наше призвание. Утратили ли мы ее, и способны ли мы на это в настоящую минуту? Во главе нашей дипломатии стоят такие даровитые политики, как гр. Ламздорф и кн. В. С. Оболенский…

Вот мысли и впечатления, которые проносились в нас во время нашего путешествия. Мы не видели самого пожара, хотя были близко от него, всюду летали искры и галки, и мы слышали только смятение домовладельцев…"

Приложение 26.

На страницах "Освобождения" (П. Б. Струве) № 10, за 1903 г., было помещено сообщение о состоявшемся собрании и полностью воспроизведена речь кн. С. Н., при чем сообщалось следующее:

"Надо сказать, что с самого момента основания этого Общества, теперь захватившего более половины всего студенчества (Московского), раздавались голоса, что Общество это воздвигнуто на костях павших товарищей (в беспорядках прошлого года), что во главе его стоят оппортунисты, что

Общество это тормозит "движение", служа клапаном, умиротворяющим, отвлекающим от "движения" и т. д. Весной на Общество было воздвигнуто сильное гонение радикальной партии, обвиняющей бюро в оппортунизме. Агитация против Общества не прекращалась и поныне. Между прочим, обвиняли Общество в том, что устраивая известную экскурсию в Грецию, оно взяло 3.000 руб. у правительства для "увеселительного путешествия" в то время, как сотни студентов исключаются из университетов за невзнос платы, и т. д. Последней попыткой была попытка подорвать выборы распространением нижеследующей прокламации:

"От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви,

Товарищи! Вас, ищущих разрешения мучительных жизненных вопросов об истине, справедливости, благе общественном и личном, направили в этот зал, где сулят вам не только разрешение но нечто большее — стать носителями истины, осуществителями справедливости, раздаятелями благ, учителями жизни под руководством искусившегося в житейской премудрости князя-философа Трубецкого. И многие из вас принимают эти "посулы" всерьез, ни на минуту не допуская мысли о том, что это не более, как политическое шарлатанство, к которому заинтересованная сторона, правительство, прибегает для разряда революционных газов в безопасной среде. Свободная мысль и речь поощряются в подобных Обществах, но только подобных… За то у кое-кого увеличивается надежда, что эти "прекрасные в сущности вещи" не скоро станут достоянием так некстати возжаждавших их масс. Вам снисходительно разрешают именоваться "промеж себя" всевозможными якобинскими кличками, вплоть до "социал-демократов" в то время, как людей, стремящихся воплотить в жизнь почерпнутые из одного источника с князем истины, беспощадно разят, карают по такой-то и такой-то статье: одно, вишь, дело теория, а другое практика!

Товарищи! Не философ, поощряемый правительством и взирающий на жизнь с высоты своего княжеского величия, приведет вас к познанию истины, но жизнь, ее практика, выполнение ее указаний. А ее указания в настоящий момент ведут нас "в стан погибающих за великое дело любви" к обездоленному народу и мстящих за попрание элементарных нравственных и физических потребностей.

Товарищи! Нравственные силы наряду с физическими для своего развития нуждаются в активности, а пустые словопрения

способны лишь атрофировать их. Поэтому жестоко обманываются те из нас, кто, не расставаясь с мыслью отдать со временем свои силы на служение и во благо масс, идет к цели путем, указываемым перстом правительства, опытного в искоренении.

В настоящий момент напряженной борьбы лучших сынов родины с произволом и насилием правительства за угнетаемое большинство, в настоящий острый момент ваши силы, более чем когда-либо, нужны народу. Помощь в настоящем, как бы мала она ни была, неизмеримо ценнее той грандиозной помощи, об оказании которой в туманном будущем вы мечтаете. Плюньте на эту игру в общественность и соединяйтесь в революционные организации! Москва, 9 октября 1905 г.

Революционная группа студентов".

Приложение 27.

Речь С. Н. на собрании Историко-филологического Общества 9 октября 1903 г.:

"Может быть, я увлекался, обманывал себя, но думал и говорил всегда, что придаю нашему Обществу большое значение во внутренней жизни университета. Нам нужно не его бюрократическое преобразование, не эфемерные картонные домики, нам нужна органическая реформа: она нам безусловно необходима. Нам нужно, чтобы университет перестал быть агрегатом "отдельных посетителей", чтобы он стал одним целым организмом, одушевленным одними и теми же научными и нравственными идеалами. Нам нужно, чтоб искусственные программы, нормирующие преподавание, уничтожились бы, чтобы развилась в университете свобода преподавания, чтобы преподавание определялось научными требованиями факультетов и запросами общества: нужно, чтоб университет приблизился к обществу и стал действительно светлой и мощной общественной силой. А для этого, прежде всего, нужно, чтобы произошло сближение между учащими и учащимися. Это, по-моему, единственно правильный путь к выработке русского самобытного и национального университета, это представляется мне благородной и плодотворной работой, для которой наше Общество и все другие, какие последуют за ним, могут и должны трудиться. Я, господа, нисколько не скрываю ни от себя, ни от вас, и все кто меня знают, знают, что я говорю правду, что за стенами университета есть великие задачи, гораздо более значительные, нежели те, о которых я теперь с вами говорю, но из-за этих великих задач нам не следует забывать тех

непосредственных, на которые кроме нас некому работать, которые просто силой вещей вверены нам самим русским обществом. Университет не был и не будет никогда школой общественного индифферентизма, а наше общество тем паче. Если бы я это думал, я первый ушел бы. Я желаю каждому из вас выйти из университета во всеоружии знания, желаю каждому из вас вынести из университета святую любовь, святую ненависть. Святую ненависть по отношению к тому, что тормозит развитие русской жизни, но пока вы в университете, помните, что России нужна эта светлая культурная общественная сила, которая называется университетом, и что для этой силы все мы, насколько можем, должны работать.

Но, может быть, вы скажете мне, что я обольщаюсь. Мне представляется, что наше Общество и те общества, которые за ним последуют, могут здесь делать многое. Я укажу вам на прошлый год. Я не скажу, что мы сделали много. Результаты, достигнутые нами, были незначительны, малы. Было недостаточно энергии, недостаточно веры, было много недоверия, вражды против Общества, которая не рассеялась еще до сих пор. Об этом свидетельствуют и вот эти листки (он показал прокламацию). Но, господа, кроме того вы должны признать еще и то, что мы делали много невольных ошибок: наши первые шаги были неуверенны… И все-таки, результаты, достигнутые нами, более значительны, чем мы могли ожидать, чем могло сниться несколько лет назад. Ведь, на самом деле, это не слова, мы перестали быть "отдельными посетителями" университета. Учащие и учащиеся соединились в той мере, в какой прежде никогда не было. Вспомните наши прошлогодние заседания. Мы собирались чуть ли не ежедневно. Вспомните, сколько жизни и оживления вносилось в нашу среду, как свободно обсуждались самые различные, самые широкие вопросы науки и общественной жизни. И ведь это не праздные слова — это служило делу нашего образования, образования общественности, и в итоге этой скромной общественной деятельности мы добились еще одного важного результата, который для студенчества прошел довольно незаметно, но для университета имел громадное значение: было уничтожено кураторство. За это уничтожение высказались члены Совета в виду тех отношений, какие сложились между учащими и учащимися, в виду той единственной возможной формы общения между нами, которая исключает всякую насильственную опеку.

Для профессоров кураторство было более одиозно, чем для студентов, которые его не видали. То что мы сделали, те отношения, которые сложились между нами, сделали невозможной эту бюрократическую организацию. Ведь это что-

нибудь стоит… Но мало этого! Была создана автономная университетская комиссия с выборным составом для заведования студенческими учреждениями. Она до сих пор не проявляла своей деятельности, потому что она никому не хочет навязываться. Я сам близко знаю некоторых членов комиссии и скажу, что она призвана служить процветанию, а не быть тормозом для студенческих учреждений. Я не хочу сказать, что эта комиссия разрешила все вопросы университетской жизни, нет, и тут будет еще много борьбы. Является вопрос, насколько прочно это учреждение. Я не хочу, чтобы вы обманывались, но, все-таки, это первый раз, что является в истории университета факт такого рода, и это не пройдет бесследно. Это указывает нам путь, по которому мы для решения наших чисто университетских дел можем идти. Я не хочу уверять вас, что этим все достигнуто. Это только намек на то, что мы должны сделать, опять-таки для решения чисто университетских вопросов. Я буду говорить не свое мнение. Я укажу, чего добиваются, за редкими и печальными исключениями, университетские деятели.

Во-первых, преобразования университета на началах автономии. Во-вторых, довольно щекотливый вопрос — я буду откровенен, вопрос об инспекции. В-третьих, вопрос об уничтожении курсовых делений и развитии свободного преподавания. Мне кажется, что во всех этих трех направлениях наше Общество должно работать. Чем более наша университетская жизнь будет приобретать характер автономии, тем прочнее будут заложены основания автономии университета, и это будет реформа действительно органическая, с которой правительству придется в конце концов считаться. Это есть самый надежный путь к достижению цели и потому, чем шире мы разовьем нашу деятельность, тем лучше не только для нас, но и для университета. Далее вопрос об инспекции, этой Ахиллесовой пяте, которая щекотлива, как всякая пята. Чтобы не сказать лишнего, я предлагаю кому-нибудь вступить со мной в сократический диалог и отвечать "да" или "нет". Обращаясь к А. И. Анисимову (секретарю Общества), С. Н. сказал: "Александр Иванович, что, мы видим инспекцию в наших собраниях?" Анисимов: "Нет". С. Н.: "Что, возможно существование университетских обществ с участием инспектора?" Анисимов: "Нет".

С. Н.: "Довольно, этим всё сказано. В университете, где царит большая непринужденность, мы инспекции не видим: мы видим ее только в часы обязательных занятий. Пройдет несколько лет, и мы будем в праве спросить: зачем она нужна, и не представляется ли она инородным телом в университете? Пойдем дальше. Вопрос

об организации свободного университетского преподавания… Здесь, господа, мы можем сделать всего больше. Здесь мы можем специализироваться, как мы желаем, здесь мы можем достигнуть и крупных результатов в смысле расширения общеобразовательного значения университета. Мы это доказали на таком примере, как устройство экскурсии, в которой могли участвовать студенты всех факультетов. Мы надеемся, что возникнет еще несколько обществ, подобных нашему, и все общества в России будут устраивать подобные экскурсии, исправивши те промахи, какие были сделаны в нашем первом опыте. Далее, организация общих публичных лекций, какие существуют в германских университетах, где наряду с такими лекциями, какие есть у нас, и которые всего более подходят под рубрику привата, существуют еще, с одной стороны, и privatissima, с другой — публичные лекции на общеобразовательные темы, которые имеют значение для всего университета. В прошлом году одним из наших сочленов, кажется, медицинского факультета, возбуждался вопрос об утверждении серии таких чтений для всего университета. При известной доле энергии мы, конечно, можем этого достигнуть и организовать такие чтения. Я сам предлагаю свои услуги, но на будущий год.

Вот задачи, которые предстоят нам и которым мы можем и должны, по моему мнению, посвятит свои силы. Но, ведь, есть много и других, которые были намечены, но не были достигнуты, отчасти вследствие недостатка солидарности, раздоров, которые парализовали нашу деятельность. Я указал бы здесь на злополучный "Сборник". Материал готов, но нет редакционной комиссии. В начале был широкий план, который представлялся осуществимым, превратить такой сборник в периодический орган университетского Общества, который служил бы объединительным целям. Мало ли других задач, которые сами явятся, и, господа, я от всей души желаю, чтобы вы трудились дружно и энергично. Для этого нужны не игра в пустые словопрения, не громкие слова, не игра в "запросы", не устройство "инцидентов" в бюро с целью бросить тень на деятельность Общества, возбудить подозрения в студенчестве… В ком и против кого? В нас самих, против нас самих. Господа! Для этого нужна солидарность, нужно доверие, нужна общественная дисциплина.

Выберите теперь бюро, которому вы могли бы доверять, и окажите ему должную поддержку. Это совершенно необходимо для того, чтобы Общество существовало и развивалось, чтоб оно не погибло от печальных и праздных раздоров. Отнеситесь к этой

задаче с должным вниманием и строгостью, но избранникам вашим дайте и вашу поддержку".

Приложение 28.

В первой половине января 1904 г. С. Н. писал А. И. Анисимову:

"Известия, полученные мною из Москвы — очень грустны. Что есть люди, желающие во что бы то ни стало, закрытия Общества, чтобы ловить рыбу в мутной воде, это меня не удивляет: эти господа точно так же желали бы нагаек, потому что нагайки могут еще более служить их целям. Но что меня глубоко огорчает так это то, что эти господа, не брезгающие никакими средствами, в таком страшном меньшинстве, и что большинство, которое с ними не солидарно, бессильно против них по какой-то трусливой и постыдной дряблости. Я получил несколько писем, в которых меня предупреждают, что к февралю Общество закроют, или же все председатели из него уйдут. Это не шутки: студенчеству грозит прямо позор, если оно это допустит. А средство предупредить позор я вижу только одно: кучке радикалов противопоставить кучку преданных Обществу лиц, которые не задавались бы широкой "академической" программой, а просто без различия партий и оттенков соединились бы для того, чтобы оградить Общество от гибели, клятвенно обязавшись его поддерживать. Кучка эта может быть и небольшая, но верная: если возможно, организуйтесь десятками или восьмерками с тем, чтобы члены восьмерок или десяток обязались присутствовать на тех общих собраниях (или секционных), где потребуется их помощь, и положили конец происка м явных врагов Общества.

Сами вы сделайте скорей первые шаги в этом направлении, но не выдвигайтесь слишком, предоставьте действовать другим. То, что мне пишут, делает для меня несомненным, что против нас ведется организованная борьба, и если этой организации вы не противопоставите другую, наше дело будет проиграно. Общие собрания надо делать возможно реже; мало того, провести меру для ограждения Общества, воспрещающую не только постановление резолюций, но даже дебаты по каким-либо требующим резолюций вопросам в тех собраниях, в которых нет законного числа членов… Письму этому широкой огласки не давайте, потому что я слишком далеко от Москвы, но, не говоря о моем плане, скажите моим друзьям, что, если они допустят погром, то это будет позорно".

Приложение 29.

Письмо П. И. Новгородцева, заступившего место председателя Историко-филологического Общества.

31 января 1904 г.

"Многоуважаемый Сергей Николаевич. Я сказал Николаю Васильевичу (Давыдову) (Давыдов был товарищем председателя П. И. Новгородцева.), что и со своей стороны напишу вам в дополнение к тому, что вы уже знаете о нашем Обществе, но теперь вижу, собираясь исполнить свое намерение, как трудно это сделать в кратком письме. Для того, чтобы рассказать Вам все, что мы пережили за этот год, в частности, что испытал я лично, потребовался бы длиннейший рассказ, который я предпочитаю сделать при личном свидании, которого с нетерпением ожидаю. Пока скажу кратко, что я не вижу никакой возможности сохранять далее наше Общество, его необходимо закрыть. Мы ждем только Вашего приезда, чтобы это сделать. Отсутствие Ваше в решительный момент больно чувствовалось всеми. Мы избегли окончательно скандала только прекращением общих собраний. Но одновременно с закрытием Общества следует провести и другую меру: обеспечить самостоятельное существование отдельных секций. Студенты привыкли к работе секций: это стало потребностью, и мы уже слышали целый ряд однохарактерных резолюций по этому поводу. Очень жаль, что для Вас теперь все это уже стало далеким. Николай Васильевич говорил мне о том, что Вы готовы сделать. Вашу мысль, чуть ли не в одном письме к Н. В. высказанную, как предположение, московская молва уже превратила в принятое решение, и я уже слышал вчера, из совершенно неожиданных источников, что Вы решили не возвращаться в Россию. Я лично думаю, что, возвратившись сюда, и опять войдя в более близкое соприкосновение с университетом, Вы не оставите его. Издали без той деловой связи, которая создается непосредственными впечатлениями, многое представляется иначе и неправильно: вблизи все это смягчается той массой подробностей, которая составляет конкретную картину. Что мы вступаем теперь в новый период университетских отношений, это ясно для всех нас. Но многие из нас того убеждения, что именно теперь легче и возможнее остаться в университете, чем два-три года назад.

Во всяком случае, то или другое предположение Ваше по отношению к университету для многих из нас настолько важно, что мы ждем подробной беседы с Вами. Опыт нынешнего года дал нам много новых результатов, которые не могут быть для нас безразличны. Все это надо взвесить и принять в соображение.

Когда Вы приедете? Мы все ожидаем Вас с нетерпением и надеемся видеть весною. До свиданья. Преданный Вам

П. Новгородцев".

Приложение 30.

Письмо С. Н. брату Евгению:

"На счет внутренних дел можно многое и многое сказать, что и ты сам чувствуешь, но вот с одним, близко нас касающимся делом — университетом я просто не знаю, что нам с тобой придется делать в будущем учебном году? Положение создается совершенно невозможное и, главным образом, благодаря общим порядкам. У меня в Москве арестовали несколько академистов антирадикалов, за речи, произнесенные против радикалов в моем присутствии, и производится дознание о сих речах, произнесенных в нашем Обществе и под моим председательством год назад… Притом без всякой вины и несмотря на ручательство и протест В. Н. Давыдова держали в тюрьме членов бюро. Председатели секций и мои товарищи одни за другими уходят, слагая с себя обязанности (Новгородцев, Мануйлов, Кизеветтер). При таких условиях никакая деятельность невозможна. Главное, как мне пишут, наверху все сочувствуют Обществу и даже с видимым пониманием дела, а какие-то "синие духи" действуют прямо на руку радикалов и создают совершенно невозможное положение… Поживем — увидим!"

Приложение 31.

Письмо кн. П. В. Трубецкой к кн. О. Н. Трубецкой.

"Сережа в таком ужасном настроении по поводу войны, ее позорного начала и будущих общих и частных бедствий, что ужас. Ведь по русским газетам судя, в Москве и вообще в России убеждены, что японцы поступили вероломно, и что есть какие-то наши победы. А тут ясно и определенно знают (основываясь лишь на алексеевских депешах), что японцы поступили правильно, что кроме позорных оплошностей, неряшества и прямо неподготовленности наших людей, ничего со стороны русских до сих пор не было.

Смеются над государевым и вообще русским убеждением в "вероломстве" японцев, толкуют их желанием замаскировать нашу полную нераспорядительность и растерянность и говорят, кажется справедливо, что морское наше дело проиграно: на море

— мы побиты. На каком основании в России думают иначе? Депеши Алексеева те же. Мы проверяли по получении наших газет. Как же их толкует публика? Совершенно странно…"

Приложение 32.

Письмо С. Н. к брату Евгению.:

"Не писал тебе так долго не вследствие отсутствия внешних событий в нашей жизни, а вследствие крайне угнетенного настроения, вызванного как критическим состоянием личных дел моих, так и состоянием дел отечественных. Не могу даже описать тот ад, который я переживал. В настоящее время я приобрел одно: несомненную уверенность в нашей победе, основанную не на шовинизме, а на том ознакомлении с делом, которое нам доступно по наиболее серьезным органам немецкой почты и отдельным монографиям. Особенно рекомендую: Dumolard, "Le Japon politique, economique et social" (1904), писано до войны, очень серьезная книга, весьма сухая, но дельная.

Если наше внутреннее и финансовое положение плохо, то японское отчаянно; и эта безумная война есть игра "ва-банк" ошалевшего государства, находящегося накануне банкротства и революции, вся скороспелая культура которого есть действительно une traduction mal faite. (Плохой перевод (плохое подражание).). Кроме того, оказалось, что в двухмесячный срок мы мобилизовали больше их, и темп они потеряли, между тем как все шансы их состояли в том, чтобы действовать так, как они действовали в первую ночь. (Семенов, "Расплата". По прибытии в Порт Артур после 25 января он пишет: "Одно только признавалось всеми, и никто против этого не спорил: если бы японцы пустили в первую атаку не 4, а 40 миноносцев и в то же время высадили хотя бы одну дивизию, то крепость и остатки эскадры были бы в их руках в ту же ночь".)

А теперь выходит, что цепку-то они проломили, а потом оказались "швах", все толки о том, как они бросят разом все силы на Корею и Манчжурию, оказались пуфом, которому верила одну минуту европейская публика и печать.

Наша армия, в которой такой дух, какой проявился при Чемульпо, и такой порядок, какой проявился при мобилизации, — может не бояться японцев. На счет мобилизации все специалисты здесь выражают удивление и изумление: Eine Leistung ersten Ranges, die in der ganzen Welt seines gleichen nicht finden kann, как писал здесь один полковник генерального штаба, лично ездивший за Байкал наблюдать мобилизацию. Это уже

одно — памятник министерства Куропаткина и характеризует его, как военного администратора, а в настоящей войне администрация, если не все, то чрезвычайно многое.

Вот пока все, чем могу себя утешать на счет войны. Относительно продолжительности ее трудно что-нибудь предполагать: вернее, подобно Куропаткину, рассчитывать, что она будет очень продолжительная, хотя в здешних банках недоумевают, откуда Япония достанет денег: их рента в Лондоне стоит 64, а при таких условиях заем едва ли вероятен, да и до войны им грозил полный крах.

Не делая себе никаких иллюзий относительно нашего внешнего и военного положения, все-таки крайне затруднительного и тяжелого, я все таки был бы доволен, если бы внутреннее положение не было бы еще более тяжело. Тут дело обстоит гораздо хуже, и я невольно вспоминаю текст о том, что "егда услышите о бранях, знайте мол, что все это "начало болезней", и погодите смущаться хуже будет!"

ЧАСТЬ II

К ГЛАВЕ 1-й

Приложение 33.

Письмо С. Н. к брату Евгению от 8 дек. 1904 г.:

"Милый Женя! Быстро мы живем: в неделю — месяц. И, главное, писать нельзя ни о чем. Ты, может быть, знаешь об наших делах. Приходится перечислять события… Последний раз писал тебе недели две тому назад. С тех пор произошли след. события:

1) По просьбе Шипова и некоторых членов съезда мною была написана "Записка" Мирскому о современном положении и программе реформ".

2) Состоялось у меня первое учредительное собрание редакционного комитета будущей газеты, которую пока решено сделать еженедельной.

3) Я ездил с Шиповым к Мирскому и читал ему "Записку".

4) В Москве состоялся ряд банкетов, постановлений, манифестаций.

5) Последняя из них, устроенная социал-революционерами с прямой целью вызвать кровавое столкновение (они стреляли первые), привела к желаемому ими результату: Москва буквально

с ума сошла, и протесты сыпятся с телеграммами, заявлениями и т. п. от самых мирных и трусливых людей на свете.

6) В университете резкая забастовка. Сегодня меня заставили прекратить лекцию, чем я воспользовался для бесплодных попыток защитить Герье, которого студенты освистали за то, что он с каким-то попом оставил залу Городской Думы в виде протеста против неконституционных ее постановлений (это он, бедный, чтоб ему женский университет разрешили!..)

7) У меня инфлюэнция и компресс на печени. С утра нетолченная труба народу: профессора, студенты, барышни, курсистки, дамы, земцы, публицисты, никогда еще ничего подобного не было. Иногда буквально весь день.

При этом я пишу политические записки, доклады, статьи по греческой философии (одну даже по-немецки) и "о бессмертии души"… Последняя всего полезнее для меня, ибо помогает сохранять равновесие.

Снизу надвигается террор, а наверху эти четыре дня страшная растерянность: реакционный манифест вместе с отменой охраны. Поражения Мирского, колебания… Манифест отложен, ждут другого или того же самого 15 декабря.

Газету мне, вероятно, разрешат (только, очевидно, если положение печати не изменится, мы не выпускаем)…

Вскоре пришлю тебе мою "Записку": очень одобряют, имела большой успех и здесь и у Мирского. Он на меня произвел самое лучшее впечатление. Но Правительства нет и в такой момент!.. Что-то будет!.. Надо молиться Богу. Крепко целую. Сережа.

Слухам о противоестественном кровопролитии не верь, раздуто страшно. Правительственное сообщение ближе к истине, хотя есть два-три серьезных поранения."

Приложение 34.

Письмо С. Н. к брату Евгению от 15 декабря.:

"По-моему о реакции пока говорить преждевременно. Может быть, завтра начнется реакция, а, главное, что есть и будет — это все возрастающий революционный сумбур. Указ правительств. Сенату или, как говорил вчера Ключевский, "указ Витте быть Симеоном Бекбулатовичем" (замечательно остроумно) — меня утешил. (добавление ldn-knigi: источник — http://www.hrono.ru/biograf/bekbulat.html

Симеон Бекбулатович (до крещения Саин Булат) (ум. 1616, Москва) касимовский хан. Номинальный вел. князь. Сын царевича Бек-Булата, потомок ханов Золотой Орды. Вместе с отцом

перешел на службу к Ивану IV Васильевичу Грозному. Участвовал в Ливонских походах 70-х гг. В 1573 крестился. Осенью 1575 в Успенском соборе Кремля Симеон был коронован и стал называться вел. князем всея Руси, а царь стал именоваться князем Иваном Васильевичем Московским. Формально страна была разделена на владения вел. князя Симеона и на "удел" Ивана, но фактически правителем гос-ва оставался Иван Васильевич. "Политический маскарад" (В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов), при к-ром Иван Грозный продолжал сохранять власть, современниками и историками объяснен не был.

Множество предположений (внешнеполит. необходимость, испуг Ивана Грозного предсказаниями волхвов, напророчивших на этот год "московскому царю смерть", необходимость усиления террора и др.) не доказано и не опровергнуто. Через 11 мес. Симеон получил в удел земли в Твери, а Иван Грозный снова стал царем. Земельные владения Симеон потерял при Борисе Федоровиче Годунове. В 1606 был пострижен в монахи. Похоронен в Симоновом монастыре. Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.)

Уничтожение сословности в земстве, мелкая единица, торжественное уничтожение крепостнических проектов Плеве — все это необходимые шаги для подготовки правильного всенародного представительства. Витте к тому же в ближайшем будущем должен указать пути. Слава Богу, что в указе ничего не было о представительстве, а то хотели было припустить несколько выборных от городов, от земства и дворянства в Государственный Совет. Во всяком случае, это не может остановить движения, а только поддаст воды на мельницу. То же следует сказать и о "прокламации" Правительственного сообщения (Правительственное сообщение, приписывая подъем общественного движения вредному влиянию лиц, стремящихся внести в государственную жизнь смуту, объявляет требования общества "недопустимыми в силу освященных основными законами Империи незыблемых начал нашего государственного строя" и угрожает в отношении нарушителей порядка применять "все находящиеся в распоряжении властей законные средства".), в коем усматривают руку сознательно провокаторскую того же Симеона Бекбулатовича. Это брандер опасный для порядка, для власти, но не для движения. Кроме того, мы знаем, кто будет исполнять "Указ", жулик, правда, но умный и безмерно честолюбивый, не останавливающийся ни перед чем. А кто будет исполнять "правительственное сообщение"?.. Есть ли в эту минуту исполнитель? Может быть, сегодня есть. Вчера его не было.

Подождем телеграмм. Может быть, это сообщение "всерьез", а "указ" — "нарочно", а, может быть, и наоборот — сообщение "нарочно". Во всяком случае, конечный результат один. Правительству не верят ни тогда, когда оно грозит, ни тогда, когда оно обещает…

К ГЛАВЕ 3-й

Приложение 35.

В конце апреля в Москве должен был состояться Аграрный съезд земских и городских деятелей,

Изо всех вопросов, поднятых в то время, земельный вопрос представлялся Сергею Николаевичу самым трудным и сложным и, по его собственному признанию, он был неясен для него. Он писал брату Евгению в Киев (апрель 1905 г.).

"Милый Женя! Христос Воскрес! Послал тебе депешу: журнал выходит 1-го мая. Это, я тебе скажу, и страшно и трудно из-за сотрудников. Экономисты прибрали к рукам конституционалистов. И что я с этими конституцион-экономистами буду делать? Не знаю… Пусть П. присылает статью и, главное, пусть сам приезжает к 30-му апреля на бой с нашими экономистами (прирезочниками), а то они подбирают исключительно свою компанию и навязывают свою программу земской конституционной партии, как обязательный "минимум", при чем в циркуляре прямо признают, "конечным идеалом" переход всей земли в руки тех, кто ее обрабатывает. Все это более серьезно, чем тебе это кажется издали.

Для моей газеты все надежды на тебя. Возьми пай стоимостью в 500 руб. (лучше два пая) и уплати за него статьями, но не деньгами; если ты не будешь писать, меня массой завалят левейшие меня… Впрочем, и ты полевел изрядно, судя по резолюции профессорского съезда; по-моему, вообще политической резолюции писать не следовало, хотя по существу с ней можно и согласиться. Для "Московской Недели" нужна самая энергичная твоя поддержка".

На съезде земских и городских деятелей 29 апреля 1905 г. аграрный вопрос обсуждался не во всем объеме, а касался лишь вопроса о малоземельи.

Прослушав доклады М. Н. Герценштейна и А. А. Мануйлова, С. Н. высказался очень осторожно: в основу программы аграрной реформы положено принудительное отчуждение частновладельческих земель, причем этой мере придается не

только главенствующее, но, можно сказать, исключительное значение.

Тот, кто будет голосовать за проект в предлагаемом виде, будет голосовать за ликвидацию частного землевладения. Но в проекте коренной аграрной реформы нельзя обходить вопроса права и, отменяя существующие правовые нормы, необходимо устанавливать новые, между тем докладчики совершенно обходят вопрос о ratio juris точно так же, как они не касаются множества юридических, финансовых и экономических вопросов, от решения которых зависит не только решение, но и самая постановка занимающей нас проблемы. Но и независимо от указанных недочетов, проектируемая реформа возбуждает сомнения.

Что покупаем мы столь дорогой ценой? Обеспечиваем ли мы надолго социальный мир и благоденствие? Обеспечиваем ли мы, хотя бы агрикультурный прогресс, интенсификацию крестьянского хозяйства? Сохраняем ли мы общинное землевладение и землепользование, принудительную общину? Не вводим ли мы мелочную, всепроникающую бюрократическую организацию землевладения и земельных отношений? Говоря о бессословности, не создаем ли мы новое сословие привилегированных мелких землевладельцев?

Все это вопросы, которые остаются открытыми, и я не вижу возможности голосовать проект, пока они не будут выяснены".

Можно сказать, что до конца жизни вопрос в той форме решения, какая предлагалась на съезде — вызывал его возражения.

"Без соединенных энергичных усилий правительства и земства, направленных к интенсификации сельского хозяйства, крестьянство будет голодать на увеличенных наделах, как оно голодает теперь на крупных наделах в Самарской губернии", — писал он на страницах "Московской Недели", и эту мысль он часто высказывал.

"Абсолютного и окончательного решения аграрного вопроса мы не знаем, писал он там же, — и не ищем выхода из современного кризиса ни в отвлеченных идеалах более или менее далекого будущего, ни еще менее в возбуждении масс с целью немедленного и насильственного применения этих идеалов в действительности. Мы будем иметь в виду реальную цель и реальные средства.

Для улучшения народного благосостояния и мирного разрешения аграрного кризиса необходима не одна какая-нибудь мера, а целая система мер. Каждая из них в отдельности, как бы хороша и целесообразна она ни была, сама по себе, без совокупности других, будет недостаточной. В числе этих мер С. Н.

указывает на податную реформу, переселение, расселение, пересмотр арендного законодательства, организацию мелкого кредита и проч.

С. Н. указывал, однако, что при условии бюрократического режима такая реформа никогда не получит достаточной широты и прочности, "не будет тем народным делом, каким она должна быть"… и это одно уже должно служить залогом осуществления той политической реформы, без которой немыслимо наше дальнейшее государственное существование.

К ГЛАВЕ 4-й

Приложение 3б.

Настроение С. Н. по поводу его выступления 6-го июня нашло себе живое выражение в письме, написанном им вскоре после возвращения из Петербурга одному из сотрудников "Московской Недели", находившемуся в то время заграницей. Письмо это, по счастливой случайности, не было отослано, и княг. П. В. хранила его в качестве исторического документа.

"Многоуважаемый Г. Б.! Не мог Вам ответить немедленно, потому что мы живем в такой суете и толчее, в которой впечатления быстро сменяются в калейдоскопической игре: разбираться в них, записывать их, воспроизводить их, становиться на точку зрения читателей будущих времен — чрезвычайно трудно: sub specie aeternitatis — это калейдоскоп, а с точки зрения времени — пожалуй, тоже калейдоскоп: ничего особенно занимательного, не более того, что дает каждый день, каждый съезд, каждое собрание.

Ни до, ни после "знаменательного свидания", я "никаких иллюзий" себе не делал, никаких непосредственных надежд не питал. Я выполнял натуральную повинность и вначале сильно сердился на то, что меня повезли и заставили исполнять "соло". Но при том и до и после, если у меня не было "непосредственных надежд", у меня была и есть уверенность в том, что правда на нашей стороне, и что нет другого нормального выхода из положения, как то, чтобы обратиться к нам, к тем "земским общественным силам", которые одни могут "строить" теперь… Это я тоже сказал в своей речи, хотя забыл второпях включить это в ее текст, который нас просили восстановить на другой день: в тот момент, когда я говорил, мне удалось возбудить в моем собеседнике минутное впечатление в этом смысле. Я полагаю, что оно было минутным, во всяком случае, кратковременным.

Что поделаешь против абулии, да еще при наличии подавляющей массы ежеминутных, повседневных влияний совершенно другого характера? Но в самый момент, в самый день произведенное впечатление было несомненно сильное и заметное. Вместо заготовленного ответа нам было сказано: "От сегодняшнего дня и впредь "вы будете моими помощниками", а затем "народное представительство ляжет в основу единения Царя с народом", причем, однако, и то и другое выражение было вычеркнуто и заменено на следующий день… Вот Вам суть анекдота! Другие анекдотические подробности, доставившие мне художественное наслаждение, например, беседа с Иваном Ильичем (Петрункевичем) — непередаваемы! — тут надо было бы произвести несколько моментальных снимков, чтобы передать мимику. Иван Ильич застыл в виде совы, а его собеседник имел вид оробевшего ребенка, беседующего с "нехорошим дядей".

"Я чувствовал, что и в эту минуту он меня не любит", — вот слова, которые ему приписывали потом.

В течение некоторого времени мои близкие передавали мне отголоски произведенного нами впечатления. Да и по отношению к нам "сфер" видно было, что оно было произведено несомненно, и то, что оно должно было расплыться, хотя это, по существу, не меняет дела, другого выхода нет, и в конце концов придется "пойти в Каноссу". Самый факт нашего приема об этом свидетельствует, и накануне нашего приема наш собеседник прочел в "Le Matin": "il faudra qu'il y passe!" и принял нас.

Но вот за что я не поручусь, не развратятся ли, не революционизируются ли окончательно самые земские и общественные "строители" до тех пор? — потому что до точки кипения осталось лишь немного градусов, и все последние съезды и собрания представляют несомненно опасные признаки. Вам издали это должно быть виднее. Волна, поднимающаяся снизу, и глупые дразнящие меры сверху делают свое дело и заставляют людей терять не только государственный, но и здравый смысл. Это уж не анекдот, к сожалению, и если здесь приходится говорить о впечатлениях, то это впечатления тревожного сна при высокой температуре или впечатление метели, заметающей дорогу.

Но в самую русскую революцию можно веровать еще менее, чем в генерала Трепова, и в этом приходится убеждаться ежечасно… Во всяком случае поживем, увидим, а писать историю еще очень, очень преждевременно. Пока все-таки мы еще прелюдируем и занавес не поднялся. Смешно видеть, как гримируются некоторые любители, собирающиеся выступать на сцену. Вы избрали благую часть — хорошо быть публикой

(особенно на любительском спектакле).

Когда наступит такая конъюнктура, при которой можно будет издавать "Московскую Неделю" — предсказать не берусь: внутренняя цензура может оказаться еще более серьезным препятствием, нежели внешняя — для автора настоящего письма. Но здесь я все еще хочу льстить себя иллюзиями и надеждой.

Примите уверение в совершенном моем почтении и позвольте надеяться, что в случае осуществления моих литературных иллюзий, Вы не откажете нам в Вашем содействии. Кн. С. Трубецкой".

Приложение 37.

Записка С. Н. на запрос сенатора Песковского:

На вопрос, поставленный сенатором Песковским:

"Не было ли допущено полное и явное противоречие между общим направлением съезда 6-го июля и чувствами депутации 6-го июня, выразителем коих являлся С. Н., он отвечал:

"Вопрос этот, помимо общего своего значения, является для меня, да и полагаю, и для других депутатов вопросом личной чести, и я думаю, что самый факт нашего участия на съезде 6-го июня служит доказательством, что такого противоречия со стороны съезда допущено быть не могло". Изложив затем по пунктам те "минимальные условия" правильного народного представительства, в признании коих объединились все группы майского съезда и все общественные деятели, и о которых он доложил государю в своей речи, он писал далее:

"Милостивый ответ Е. В-тва вызвал повсеместное ликование, размеры которого превзошли все ожидания. Я лично получал целые вороха депеш, адресов и приветствий от многочисленных союзов, от городских деятелей, рабочих и крестьян. Многие восторженно указывали в событии 6-го июня начало новой эры непосредственного общения царя с земскими силами, царя с народом. Самые различные общественные группы изъявляли нам свое сочувствие, свою солидарность с земской депутацией… Но администрация сделала всё от нее зависящее, чтобы возможно скорее изгладить это впечатление. Не только не произошло никакой ощутимой перемены курса, несмотря на общие надежды, столь радостно и сильно возбужденные, но все указывало на усиление прежнего течения.

Внезапно пронесся слух, что Булыгинская конституция прошла в Совете Министров, и самый проект появился в газетах. Если русское общество и ранее с крайним скептицизмом

относилось к бюрократической попытке учредить народное представительство без и помимо народных представителей усилиями неведомых "государствоведов" Булыгинской комиссии, то опубликованный проект, не удовлетворявший вышеуказанным "минимальным условиям", очевидно не мог рассчитывать на сочувствие земских кругов. К тому же в печати появился другой слух о том, что самый избирательный закон предполагается пересмотреть, положив в основу его сословное начало — вопреки мнению земств и городов и даже вопреки мнению г.г. губернских предводителей.

При таких обстоятельствах состоялся созыв июльского Земского съезда, который обещал быть тем более возбужденным, чем сильнее были обманутые надежды. В довершение всего появились официальные предупреждения, что съезд не разрешен. После милостивых слов Государя, разрешившего нам передать Его слова всем нашим близким, "живущим на земле и в городах", после доверия нам выказанного — это был уже прямой вызов обществу, земству и городам со стороны администрации…

Земские люди отстаивали свое право, дарованное им указом 18 февраля и подтвержденное самим приемом депутации майского съезда, который также был созван помимо каких-либо официальных разрешений…

Я получил приглашение на 6-ое число от бюро съезда и приехал к открытию его, причем мне было поручено тут же сделать сообщение о приеме 6-го июня. Я не счел себя в праве уклониться, хотя и не готовился к этому докладу и вынужден был сделать это в наиболее неблагоприятный момент — сейчас после появления полиции. Несмотря на ее появление, я имел на то прямое разрешение Государя, разрешившего депутатам майского съезда передать радостную весть о Его словах "живущим на земле и в городах", мало того, помимо разрешения, я чувствовал на себе как бы некоторую прямую обязанность: в многочисленных заявлениях, которые я получал (и до сих пор получаю), меня просили сообщить подлинный текст слов Государя и моей речи, так как официальным сообщениям привыкли не верить. Я, тем не менее, признаюсь, что мне крайне не хотелось и трудно было говорить — до такой степени явно было противоречие между тем, что было 6-го июня и тем, что ровно через месяц только что произошло революционеры могли бы злорадствовать и торжествовать. Общий тон съезда несомненно был бы иной, если бы он собрался непосредственно после возвращения из Петергофа… И тем не менее, несмотря на отдельные резкости и постановления, вызванные моментом, я не нахожу, чтобы земская организация себе изменила… Столь же резко, как прежде,

проводилась грань между "бюрократией" и "Престолом", между "приказным строем", ослабляющим Престол, узурпирующим его права, нарушающим Высочайшую волю и монархическим началом, между "советчиками" Государя и Его Особою. Не менее решительно, чем прежде, проводилась основная тенденция — необходимость мирного, закономерного развития, мирного разрешения современного кризиса, к которому должны быть направлены все усилия земских людей, все здоровые, созидательные силы страны…

В заключение своей записки С. Н. обращал внимание правительства на небывалый рост всевозможных союзов, кружков для совместного обсуждения волновавших всех вопросов.

Эти явления показывают, как сильна общественная потребность, вызывающая их. С нею бороться не только бесполезно, но и опасно. В настоящую минуту опаснее всего дезорганизация общества, а не организация общественных сил, которая необходима, нормальна и неизбежна. Русское общество не должно осуществлять свое право в борьбе с правительством, и правительство не должно выступать в роли врага законных и нормальных общественных стремлений.

Рознь между правительством и обществом, являющаяся последствием "приказного строя" и обостренная долголетней реакцией, которую покойный Плеве довел до пределов безумия и преступления — вот одно из главных зол нашего времени. Репрессиями можно только увеличить, усилить, а не уничтожить эту рознь, которая дошла до того, что самые преступления, направленные против представителей правительственной власти, не вызывают общего негодования. Льстивые обещания, мнимые "бумажные" реформы столь же мало успокаивают общество и колеблют всякое доверие.

Пора не на словах, а на деле признать, что старый порядок, приведший нас к краю гибели, действительно кончился, и наступил новый порядок, при котором общественное мнение или даже мнения отдельных общественных групп, весьма отличные от мнений правительства и отдельных правительственных лиц, имеют право на свое выражение и не могут быть подчинены полицейской опеке. При режиме народного представительства, хотя бы даже законосовещательного, оно не должно и не может быть иначе…

При режиме правового государства общественные группы и союзы должны свободно организоваться и неизбежно будут организовываться. Правительство, которое будет противиться естественному и нормальному, в корне своем патриотическому движению общества, повредит обществу, повредит еще более

самому себе, и всего более Престолу и всей стране, которая все-таки не пойдет по его указке".